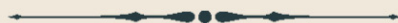
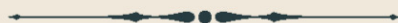




Марио Варгас Льоса



Город и псы
Зеленый Дом



Библиотека классики (АСТ)

Марио Льюса

Город и псы. Зеленый Дом

«Издательство АСТ»

1963, 1966

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Пер)-44

Льоса М. В.

Город и псы. Зеленый Дом / М. В. Льоса — «Издательство АСТ»,
1963, 1966 — (Библиотека классики (АСТ))

ISBN 978-5-17-135999-7

Марио Варгас Льоса (р. 1936) – перуанский писатель, один из выдающихся представителей латиноамериканской прозы, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года, премии Сервантеса и других авторитетных премий, член Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона. В сборник включены романы «Город и псы» и «Зеленый Дом».

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Пер)-44

ISBN 978-5-17-135999-7

© Льоса М. В., 1963, 1966

© Издательство АСТ, 1963, 1966

Содержание

Город и псы	6
Предисловие	6
Первая часть	7
I	7
II	21
III	33
IV	42
V	58
VI	67
VII	79
VIII	87
Вторая часть	97
I	97
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Марио Варгас Льюса

Город и псы. Зеленый Дом

Mario Vargas Llosa
LA CIUDAD Y LOS PERROS
LA CASA VERDE

© Mario Vargas Llosa, 1963, 1966
© Перевод. Д. Синицына, 2021
© Перевод. Н. Наумов, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Город и псы

Предисловие

Я начал писать «Город и псы» осенью 1958 года в Мадриде, в кабачке «Эль-Хуте» на проспекте Менендес-и-Пелайо, что прямо напротив парка Ретиро, а закончил зимой 1961-го в Париже, в мансарде. Чтобы эта история сложилась, мне пришлось переживать всеми понемногу: в детстве – и Альберто, и Ягуаром, и индейцем Кавой, и Рабом, и кадетом Военного училища имени Леонсио Прадо, и мальчиком из Веселого квартала в районе Мирафлорес, и мальчиком из квартала Ла-Перла в Кальяо, а в отрочестве – читать множество приключенческих романов, верить в ангажированную литературу по Сартру, проглотить всего Мальро и восхищаться американскими писателями потерянного поколения – всеми, но больше всех Фолкнером. Такова глина, из которой вылеплен мой первый роман, – плюс немного фантазии, юношеских мечтаний и флоберовской дисциплины.

Рукопись, словно неуспокоенная душа, мыкалась по издательствам, пока через моего друга, французского испаниста Клода Куффона, не попала в руки Карлоса Барралья, главы барселонского «Сейш-Барраль». Карлос присудил моему роману премию «Библиотека Бреве», помог обойти подводные камни франкистской цензуры, продвигал его и добился перевода на многие языки. Эта книга принесла мне больше сюрпризов, чем любая другая. Благодаря ей начала сбываться мечта, не оставлявшая меня с тех пор, как я бегал в коротких штанишках: стать в один прекрасный день писателем.

Марио Варгас Льюса

Фуимль, август 1997

Первая часть

*Кин¹: Мы играем героев, потому что мы трусы,
святых – потому что нечестивцы;
мы играем убийц, потому что страстно желаем
убить ближнего и не можем;
мы играем, потому что мы
прирожденные лжецы.*

Жан-Поль Сартр

I

– Четыре, – сказал Ягуар.

Лица в неверном свете замызанной лампочки смягчились: опасность миновала всех, кроме Порфирио Кавы. Выпало три и один; кубики замерли, ярко белея на грязном полу.

– Четыре, – повторил Ягуар. – У кого?

– У меня, – пробурчал Кава. – Я четыре называл.

– Быстрее давай, – сказал Ягуар. – Второе слева, помнишь?

Каве стало зябко. Уборные находились в конце казарм, за хлипкой деревянной дверью, и окон в них не было. В предыдущие зимы холод пронизывал только кадетские дортуары, просачивался сквозь щели и разбитые стекла, но эта зима выдалась кусачей, и в училище не оставалось места, не продуваемого ветром: ночами он добирался даже до уборных, выстуживал их, разгонял скопившуюся за день вонь. Кава родился и вырос в горах и к таким зимам был привычен, а похолодел от страха.

– Все уже? Можно спать идти? – спросил Удав: слишком долговязый, слишком громкий, сальные волосы топорщатся на макушке, крупная голова, мелкое личико, заспанные глаза. Рот открыт, к выступающей нижней губе прилипла табачная крошка. Ягуар повернулся к нему.

– Мне с часу на дежурство, – сказал Удав. – Я бы поспал чутка.

– Валите, – сказал Ягуар. – В пять разбужу.

Удав и Кучерявый вышли. Кто-то из двоих споткнулся в дверях и выругался.

– Сразу, как вернешься, меня разбудишь, – велел Ягуар. – Одна нога здесь, другая там. Скоро двенадцать.

– Да, – сказал Кава. Лицо его, обычно непроницаемое, выглядело утомленным. – Пойду оденусь.

Они вышли из уборных. В казарме было темно, но Кава и без света мог лавировать между рядами коек; он на память знал, как устроено вытянутое помещение с высоким потолком. Сейчас здесь царили тишина и спокойствие, время от времени нарушаемые всхрапами и бормотанием. Он дошел до своей койки, второй справа, нижней, в метре от входа. Нашаривая в шкафчике брюки, рубашку цвета хаки и ботинки, ощущал на лице табачное дыхание негра Вальяно, который спал на верхней койке. Два ряда больших белоснежных зубов поблескивали в темноте. Каве пришли на ум какие-то грызуны. Тихо, медленно он стянул синюю фланелевую пижаму и оделся. Накинул суконную куртку. Осторожно, стараясь не скрипеть ботинками, вернулся к койке Ягуара на другом конце казармы, у уборных.

– Ягуар.

– На, держи.

¹ Эдмунд Кин (1787–1833) – английский актер, персонаж пьесы Александра Дюма-отца «Кин» (1838) и ее переложения, написанного в 1953 году Жан-Полем Сартром.

Кава протянул руку, взял два холодных предмета, шершавый и гладкий. Фонарик спрятал в кулаке, напильник убрал в карман куртки.

– Кто сейчас дежурит? – спросил Кава.

– Мы с Поэтом.

– Как это?

– За меня Раб стоит.

– А в других взводах?

– Ссышь?

Кава не ответил. На цыпочках прокрался к выходу. Отвел одну дверную створку очень аккуратно, но она все равно заскрипела.

– Вор! – выкрикнул кто-то во мраке, – Мочи его, дежурный!

Кава не узнал голос. Выглянул: пустой двор слабо освещали круглые фонари над плацем, отделявшим казармы от поросшего травой пустыря. Туман размывал очертания трех бетонных зданий, где располагались казармы пятого курса², и придавал им призрачный вид. Кава выскользнул за дверь. Прижался спиной к стене, постоял бездумно. Рассчитывать больше не на кого; Ягуар тоже вне досягаемости. Он позавидовал спящим кадетам, сержантам и даже солдатам, забывшимся тяжелым сном в наскоро выстроенном бараке по ту сторону стадиона. Понял, что, если сейчас же не начать действовать, страх скрутит по рукам и ногам. Прикинул расстояние: нужно перебежать двор и плац, потом темным пустырем обогнуть столовую, административный корпус, офицерское общежитие и преодолеть еще один двор, небольшой, зацементированный, упирающийся в учебный корпус, где можно будет выдохнуть – патрули туда не добираются. И той же дорогой обратно. Ему смутно хотелось утратить волю и воображение и проверить план, как слепая машина. Целыми днями Кава отдавался рутине, всё решавшей за него, мягко толкавшей на действия, которых он почти не замечал. Но сегодня – другое дело: случилось то, что случилось, и в голове была необычайная ясность.

Он начал медленно перемещаться. Перебегать двор поперек не стал, а заложил крюк мимо изогнутой стены казарм пятого курса. Дойдя до края, с тоской устремил взгляд вперед: плац выглядел таинственным и нескончаемым в симметричном обрамлении круглых фонарей, под которыми вилась дымка. За освещенной полосой, в гуще теней угадывался поросший травой пустырь. Дежурные любили прилечь там вздремнуть или перекинуться парой слов, если не было холодно. Кава надеялся, что нынче ночью они заняты игрой где-нибудь в уборной. Он быстро пошел, стараясь держаться в тени зданий слева и не попадать в круги света. Шум прибоа гасил звук шагов – училище стояло прямо над морем, по другую сторону утесов. Дойдя до офицерского общежития, Кава встрепенулся и поднажал. Напрямки пересек плац и нырнул во мрак пустыря. Совсем рядом что-то вдруг пришло в движение, и страх, только-только начавший таять, вонзился в тело, как нож. На миг Кава замер: в метре от него мерцали, словно светлячки, мягкие, робкие глаза викуны. «Пошла!» – в сердцах прошипел Кава. Викунья выказала безразличие. «Никогда, зараза, не спит, – подумал он. – И не жрет. Чего она никак не подохнет?» Пошел дальше. Два с половиной года назад, когда он приехал в Лиму заканчивать учебу, его удивило, что среди серых, изъеденных сыростью стен Военного училища имени Леонсио Прадо безмятежно бродит эта скотина, которая только в горах и живет. Кто, интересно, притащил сюда викуню? С каких таких Анд? Кадеты использовали ее как мишень в соревнованиях на меткость, но камни викуню будто бы совсем не беспокоили. Она медленно отходила подальше от бросавших; морда не выражала ровным счетом ничего. «На индейцев похожа», – подумал Кава. Он взбежал по лестнице к классам. Здесь можно греметь ботинками

² Трехлетнее обучение в училище имени Леонсио Прадо соответствует второму циклу среднего образования в Перу (первый цикл состоит из двух лет). Поэтому кадеты первого года (псы) – третьекурсники, второго – четверокурсники, третьего – пятикурсники.

сколько угодно: кругом только скамейки, парты, ветер и тени. Скачками преодолел галерею на верхнем этаже. Остановился. Мертвенный луч фонарика осветил окно. «Второе стекло слева», – говорил Ягуар. В самом деле разболтано. Напильником убрал замазку из рамы, ссыпал в ладонь. Ладонь вспотела. Осторожно вынул стекло и поставил на пол. Ощупал деревянную раму, нашел щеколду. Окно распахнулось. Залез внутрь, поводит фонариком во все стороны. На столе рядом с мимеографом лежали три стопки бумаги. Прочел на верхнем листе: «Промежуточный экзамен по химии. Пятый курс. Продолжительность: сорок минут». Отпечатаны только что, днем, – краска еще поблескивает. Он быстро переписал вопросы в блокнот, ни слова не понимая. Погасил фонарик, бросился обратно к окну. Подтянулся, прыгнул: стекло под ботинками разлетелось вдребезги с оглушительным звоном. «Ё!» – взвыл он. Присел на корточки и в ужасе и ожидании затаился. Но до ушей не доносилось никакой суматохи, ни один офицер не орал, словно пуская из рта пулеметную очередь; слышалось только прерывистое от страха дыхание. Выждал еще несколько секунд. Потом, забыв про фонарик, собрал, как мог, с плиточного пола осколки и спрятал в куртку. Наплевав на предосторожности, быстро вернулся в казарму. Хотелось поскорее забраться в постель, закрыть глаза. На пустыре выкинул осколки, порезался при этом. В дверях казармы встал, навалилась усталость. Из сумрака выступил силуэт.

– Достал? – спросил Ягуар.

– Да.

– Пошли в толчок.

Ягуар шел первым, дверь в уборную он толкнул обеими руками. В желтоватом свете Кава увидел, что он босой: ступни большие, белесые, с длинными грязными ногтями. Воняют.

– Я разбил стекло, – сказал Кава ровным голосом.

Руки Ягуара метнулись к нему, как два белых болида, намертво вцепились в лацканы куртки, смяли ее. Кава пошатнулся, но взгляда от глаз Ягуара, бешеных, сверлящих его из-под загнутых ресниц, не отвел.

– Сраный индеец, – медленно пробормотал Ягуар, – оно и видно, что индеец. Если нас накроют, я тебе обещаю...

Он так и держал его за грудки. Кава положил руки на его запястья. Попытался мягко развести их.

– Руки! – сказал Ягуар. Кава ощутил на лице невидимую морось. – Индеец!

Кава опустил руки.

– Во дворе никого не было, – прошептал он. – Меня никто не видел.

Ягуар выпустил его и впился зубами в свой правый кулак.

– Я тебе не стукач, Ягуар, – проговорил Кава. – Если накроют, все возьму на себя, и дело с концом.

Ягуар смерил его взглядом. Засмеялся.

– Дрейфло индейское, – сказал он. – Обоссался со страху. На штаны свои посмотри.

Он позабыл дом на проспекте Салаверри, в Новой Магдалене, где жил с того самого вечера, как впервые приехал в Лиму, и восемнадцатичасовую дорогу на машине, круговорот селений в развалинах, песков, крохотных долин, временами маячившего моря, хлопковых полей, селений, песков. Он прижимался носом к окошку, и все тело зудело от волнения: «Я увижу Лиму». Иногда мама притягивала его к себе и шептала: «Ричи, Рикардито». А он думал: «Почему она плачет?» Другие пассажиры дремали или читали, а шофер весело напевал один и тот же мотивчик, час за часом. Рикардо просидел все утро, весь день и начало вечера, не отрывая взгляда от горизонта в ожидании, что огни города вспыхнут разом, будто начнется факельное шествие. Усталость понемногу сковывала руки и ноги, притупляла чувства; в полутьме он бормотал сквозь зубы: «Не засну, не засну». И вдруг кто-то ласково его треплет: «Скоро

приедем, Рикардито, просыпайся». Он сидел на коленях у мамы, положив голову ей на плечо; было холодно. Родные губы коснулись его рта, и ему почудилось, что во сне он превратился в котенка. Автомобиль теперь катился медленно: неясно виднелись дома, фонари, деревья, проспект – длиннее, чем главная улица в Чиклайо. Он не сразу понял, что остальные пассажиры уже вышли. Шофер напевал не так бодро, как раньше. «Интересно, какой он?» – подумал Рикардо. И его снова охватило страшное нетерпение, как три дня назад, когда мама отозвала его в сторону, чтобы тетя Аделина не услышала, и сказала: «Твой папа не умер, тебе неправду говорили. Он вернулся из долгой-долгой поездки и ждет нас в Лиме». «Подъезжаем», – сказала мама. «Проспект Салаверри, если не ошибаюсь?» – промурлыкал шофер. «Да, дом тридцать восемь», – ответила мама. Он закрыл глаза и притворился, что спит. Мама поцеловала его. «Почему она меня в губы целует?» – гадал Рикардо. Правой рукой он крепко держался за сиденье. Машина, свернув несколько раз, наконец остановилась. Не открывая глаз, он съехал в маминых объятиях. И вдруг почувствовал, как ее тело напряглось. «Беатрис», – произнес кто-то. Дверца распахнулась. Его подняли на руки, поставили на землю, отпустили. Он открыл глаза: какой-то мужчина и мама стояли в обнимку и целовались в губы. Шофер перестал напевать. На улице было пусто и тихо. Он пристально смотрел на них и, шевеля губами, беззвучно отсчитывал время. Мама отстранилась от незнакомца, повернулась и сказала: «Этот твой папа, Ричи. Поцелуй его». Опять его подняли в воздух неведомые мужские руки; взрослое лицо придвинулось к его лицу, чужой голос проговорил его имя, сухие губы вдавились в щеку. Он одеревенел.

Он позабыл и остаток той ночи: холодные простыни на неприветливой постели, одиночество, которое старался разогнать, вглядываясь в темноту в надежде выхватить какой-нибудь предмет, какой-нибудь проблеск, и тоску, вгрызавшуюся в душу, как усердное сверло. «Лисы в пустыне Сечура, когда наступает ночь, начинают выть, словно бесы. А знаешь почему? Потому что они до ужаса боятся тишины и хотят сами ее спугнуть», – сказала однажды тетя Аделина. Ему тоже хотелось кричать в этой комнате, где все было какое-то мертвое. Он встал; босой, полураздетый, дрожа от неловкости, – а что, если вдруг они войдут и застанут его неспящим? – подошел к двери и прижался ухом к деревянной створке. Ничего не услышал. Вернулся в постель и заплакал, зажимая рот обеими руками. Когда в комнату проник свет, а улица наполнилась шумом, он все еще лежал с открытыми глазами и вслушивался. Прошло много времени, прежде чем он их услышал. Говорили тихо, до него доносился только неясный гул. Потом смех, движения. Дверь отворилась, шаги, кто-то рядом, знакомые руки подтянули одеяло ему под подбородок, щеки коснулось теплое дыхание. «Доброе утро! – ласково сказала она. – Не поцелуешь маму?» «Нет», – ответил он.

«Я мог бы пойти и сказать: дай двадцать солей, прямо вижу, глаза у него заслезятся, и он даст сорок, а то и пятьдесят, но это все равно что сказать: я прощаю тебя за то, что ты сделал с мамой, шатайся по шлюхам и дальше, только мне карманных побольше отваливай». Под шерстяным шарфом, подаренным мамой пару месяцев назад, губы Альберто беззвучно шевелятся. Куртка и пилотка, натянутая до самых ушей, спасают от холода. Тело свыкло с винтовкой и почти не замечает ее. «Пойти и сказать ей, что толку, что мы ни гроша с него не берем, позволь ему каждый месяц присылать чек, пока не раскается в своих грехах и не вернется домой, но она, ясное дело, расплатится и скажет, мол, надо смиренно нести свой крест, как наш Господь нес, да и даже если согласится, сколько там еще времени пройдет, пока они договорятся, так и так до завтра мне двадцать солей не обломится». По уставу, дежурные должны патрулировать двор казарм своего курса и плац, но он бродит спиной к казармам, у высокой выпцветшей ограды рядом с главным фасадом училища. Сквозь прутья решетки видит полосатое, как зебра, лежащее ниже ограды извилистое шоссе, края утесов, слышит рокот моря и, если туман немного тает, различает вдали будто бы светящееся копьё – набережную у обще-

ственных купален в Ла-Пунте, вонзившуюся в море на манер волнореза. На другом краю мерцает, замыкая невидимую бухту, раскинувшийся веером Мирафлорес, его район. Дежурный офицер проверяет патрули каждые два часа: в час он найдет Альберто на посту. А пока что тот планирует субботнее увольнение. «Может, с десятков пацанов, насмотревшись в этом фильме на баб в белье, сплошные ноги, сплошные животы, сплошные, закажут мне рассказы и даже заплатят вперед, но когда мне ими заниматься, если завтра экзамен по химии, и придется Ягуару отваливать за вопросы, разве только Вальяно даст списать в обмен на письма, да кто ж ему, негру, поверит. Может, и писем закажут, вот только под выходные все без наличности – в среду еще спустили всё в «Перлите» или проиграли. Может, те, кого лишили увольнения, дадут мне двадцать солей на сигареты, а я потрачу, а им заплачу рассказами или письмами, так ведь буча подымется, а может, найду бумажник с двадцаткой в коридоре, в классе или в уборной, или, может, забуриться в казарму к псам да пооткрывать все шкафчики, пока не найду двадцать солей или наберу по пятьдесят сентаво, чтоб не так заметно, всего-то делов сорок шкафчиков, никого не разбудив, и надо еще, чтобы в каждом нашлось по полтиннику, а может, подойти к сержанту или лейтенанту, одолжите двадцать солей, я тоже хочу сходить к Златоножке, я уже взрослый, кто там, мать его за ногу, так орет...»

Альберто долго не может узнать голос и вспомнить, что он дежурный и ушел с поста. Снова, уже отчетливее, слышит: «В чем дело, кадет?» Тело и дух откликаются. Он поднимает голову, видит, словно в круговороте вихря, стены гауптвахты, солдат на скамейке, статую героя, грозящего обнаженной шпагой туману и теням, представляет свое имя в штрафном листе, сердце бешено бьется, накатывает паника, язык и губы незаметно двигаются. Между ним и бронзовым героем, метрах в пяти, стоит, руки в боки, лейтенант Ремихио Уарина.

– Что вы тут делаете?

Лейтенант идет к нему, и Альберто различает у него за спиной темное пятно мха на пьедестале статуи, точнее, угадывает, потому что окна гауптвахты светят тускло и далеко, а может, и вовсе придумывает: не исключено, что сегодня днем солдаты отскребли пьедестал до блеска.

– Ну? – говорит лейтенант, подойдя вплотную. – В чем дело?

Альберто застыл, поднеся правую руку к пилотке. Все чувства обострены. Какое-то время он молчит, вытянувшись в струнку перед расплывчатой в темноте фигуркой, тоже неподвижной, все еще упирающейся кулаками в бока.

– Я хотел с вами посоветоваться, господин лейтенант, – говорит Альберто. «Может, втереть ему, что живот скрутило, надо таблетку там или еще что, наплести, будто мать тяжело больна, викунью убили, упросить его...» – Посоветоваться по нравственному вопросу, я имею в виду.

– Что? Повторите.

– У меня такая проблема... – выдавливает Альберто. «Сказать ему, у меня папаша генерал, контр-адмирал, маршал, за каждую мне выволочку вас лишний год в звании не повысят, или, может...» – Личная, – запинаясь, умолкает на миг, потом врет: – Полковник сказал, мы можем советоваться с офицерами. По личным проблемам, понимаете.

– Фамилия, взвод, – говорит лейтенант. Он убрал руки с талии и выглядит теперь слабее и мельче. Делает шаг вперед. Совсем близко, ниже своего лица Альберто видит странную круглую физиономию, запавшие, безжизненные жабы глаза, гримасу, которая должна изображать беспощадность, а на деле смотрится нелепей нелепого – так же, как когда лейтенант играет в штрафную лотерею собственного изобретения: «Командиры взводов, по шесть штрафных баллов всем номерам третьим и кратным трем».

– Альберто Фернандес, пятый курс, первый взвод.

– К делу, – говорит лейтенант, – ближе к делу.

– Мне кажется, я болен, господин лейтенант. То есть, я имею в виду – головой, не телом. Каждую ночь мне снятся кошмары, – Альберто опустил глаза, изображая застенчивость, и говорит очень медленно: мысли путаются, так что он предоставляет рту изъясняться самостоятельно, самому плести паутину, лабиринт, в котором заплутает жаба: – Всякие жуткие штуки, господин лейтенант. Иногда снится, что я кого-то убиваю, что за мной гонятся звери с человеческими лицами. Просыпаюсь весь в поту, дрожу. Жуть что такое, господин лейтенант, клянусь вам.

Лейтенант всматривается в его лицо. Альберто замечает, что в жабьих глазах затеплилась жизнь: недоверчивость и удивление мерцают в зрачках, как две гаснущие звезды. «Может, засмеяться, или заплакать. или заорать, или сорваться с места». Лейтенант Уарина завершил осмотр. Он резко подается назад и восклицает:

– Я вам, на хрен, священник, что ли? За нравственными советами отправляйтесь к папаше с мамашей!

– Я не хотел вас беспокоить, господин лейтенант, – лепечет Альберто.

– Так, а повязка? – лейтенант вытягивает шею вперед, округляет глаза: – Вы на дежурстве?

– Так точно, господин лейтенант.

– Вы разве не знаете, что пост покидает только павший в бою?

– Знаю, господин лейтенант.

– Нравственные советы! Да вы идиот. – Альберто перестает дышать: гримаса сползла с лица лейтенанта Уарины, рот раскрылся, глаза вылупились, на лбу собрались складки. Он смеется: – Вы идиот, на хрен. Марш на пост в свою казарму. И будьте благодарны, что штрафных баллов не выписываю.

– Слушаюсь, господин лейтенант.

Альберто отдает честь, разворачивается, краем глаза замечает солдат, сгорбившихся на скамейке у гауптвахты. Слышит за спиной: «Исповедников себе нашли, на хрен». Перед ним, слева, высятся три здания: пятый курс, четвертый, дальше третий – казармы псов. Еще дальше – запустелый стадион: футбольное поле, поросшее высокой травой, беговые дорожки в выбоинах и ямах, траченные сыростью деревянные трибуны. По ту сторону стадиона, за хилым строением – солдатским бараком – серая стена, там кончается вселенная Военного училища имени Леонсио Прадо и начинаются необозримые пустыри Ла-Перлы. «А что, если бы Уарина посмотрел вниз и увидел мои ботинки, а что, если Ягуар не достал вопросы по химии, а что, если достал, но без денег не даст, а что, если прийти к Златоножке и сказать, я из Леонсио Прадо, я в первый раз, удачу тебе принесу, что, если в квартале найти кого-нибудь из наших и занять двадцать солей, оставить ему часы в залог, что, если не достану вопросы по химии, а если завтра на смотре заметят, что я без шнурков, мне каюк, это уж как пить дать». Альберто идет медленно, немного подволакивая ноги: на каждом шагу ботинки, вот уже неделю как оставшиеся без шнурков, норовят соскользнуть. Он прошел половину расстояния от статуи героя до казарм пятого курса. Два года назад казармы распределялись по-другому: пятый курс жил у стадиона, а псы – у гауптвахты; четвертый всегда был посередине, в гуще врагов. Новый начальник училища, полковник, ввел нынешнее распределение и произнес пояснительную речь: «Ночлег возле героя, давшего имя нашему училищу, надо еще заслужить. Теперь кадеты третьего курса будут жить в дальней казарме. И с годами приближаться к памятнику Леонсио Прадо. Надеюсь, завершив обучение, они станут хоть немного походить на него: он боролся за свободу – и не только своей страны! В армии, кадеты, нужно уважать символы, чтоб вас».

«А что, если спереть шнурки у Арроспиде; какой же сукой надо быть, чтобы подставить своего же, из Мирафлореса, когда во взводе столько индейцев, которые на улицу и носа не кажут, боятся, что ли, и, может, у них шнурки есть, поищем кого-нибудь другого. А что, если

у кого-то из Круга, у Кучерявого или у Удава этого тупого, а как же экзамен, нельзя мне опять химию завалить, нельзя. А если у Раба, ха-ха, я же сам Вальяно говорил, тоже мне смелость – бить лежачего, разве только совсем отчаешься. По глазам видно, что он трус, как все негры, какие глаза, какой страх, какие ужимки, да я бы убил, если бы у меня увели пижаму, убил бы, вон идет лейтенант, вон сержанты, верните мне пижаму, мне в увольнение на этой неделе, и не то что там лезть на рожон, не то что послать его, обругать, но хоть сказать, эй, ты чо, но чтоб вот так прямо на смотре из рук вырвали пижаму, а ты и не пикнул, вот уж нет. Из Раба страх надо выбивать, сопру-ка я шнурки у Вальяно».

Он добрался до прохода во двор пятого курса. В сырой ночи, волнуемой рокотом моря, Альберто словно видит сквозь толщу бетона густой сумрак в казармах, фигуры, съжившиеся под одеялами. «Он, наверное, в казарме, он, наверное, в уборной, в траве или вообще умер, куда ты девался, Ягуарище?» Пустынный двор, слабо освещаемый фонарями с плаца, похож на деревенскую площадь. Ни одного дежурного не видно. «Наверное, играют где-то, мне бы хоть полтинник, один драный полтинник, и я бы выиграл двадцать солей, а то и больше. Он тоже, наверное, играет, может, в долг мне даст, а я ему рассказыки и письма, он же за три года мне ни разу ничего не заказывал, да ну блин, завалю химию, чувствую». Проходит по галерее. Никого. Заглядывает в казармы первого и второго взводов, в уборных пусто, в одной воняет. Ищет дальше, нарочито шумно идет по дортуарам, но дыхание кадетов – у кого мирное, у кого тяжелое – нигде не сбивается. В пятом взводе, у самой двери уборной, он замирает. Кто-то разговаривает во сне: в потоке неясных слов слышится женское имя. «Лидия. Лидия? Вроде так зовут девушку этого, из Арекипы, он еще мне письма от нее и фотографии показывал и плакался, мол, напиши красиво, я ее сильно люблю, что я вам, священник, на хрен, да вы идиот. Лидия?» В седьмом взводе, возле писсуаров, несколько человек сидят кружком: все как один сгорбились под зелеными куртками. Восемь винтовок валяются на полу, одна прислонена к стене. Дверь в уборную открыта, и Альберто видит компанию издалека, с порога казармы. Делает шаг, наперерез ему выскальзывает тень.

– Кто идет? Что надо?

– Полковник. Разрешение на игру получили? Или вы не знаете, что пост покидает только павший в бою?

Альберто входит в уборную. На него воззряется дюжина усталых лиц: Дым, как шатер, висит над головами дежурных. Одинаковые, темные, грубые лица – ни одного знакомого.

– Ягуара не видели?

– Он не приходил.

– Во что играете?

– В покер. Хочешь тоже? Сначала на стреме постоишь минут пятнадцать.

– Я с индейцами не играю, – говорит Альберто, подносит руку к ширинке и делает вид, будто целится в игроков. – Я их только натягиваю.

– Иди отсюда, Поэт, – отвечают ему, – и не капай на мозг.

– Я на вас капитану донесу, – говорит Альберто, уходя. – Скажу, индейцы на дежурстве в покер на вшей режутся.

Вслед ему несутся ругательства. Он снова во двореке. Некоторое время думает, потом бредет к пустырю. «Может, дрыхнет в траве, а может, ворует вопросы, в мою-то смену, ублю-док, а если в самоволку, а если». Переходит пустырь к задней стене училища. В самоволку раньше лазали через нее, потому что с той стороны земля ровная и ног не переломаешь. Ночами то и дело тени сигали через стену и возвращались на рассвете. Но новый начальник училища отчислил четверых с четвертого курса, которых застукали, и теперь двое солдат патрулируют стену с внешней стороны всю ночь. Самоволок стало меньше, и ходят теперь другим путем. Альберто разворачивается: перед ним пустой и темный двор пятого курса. А рядом, в проходе, мерцает синеватый огонек. Альберто направляется туда.

– Ягуар?

Никто не отвечает. Альберто достает фонарик – дежурным, помимо винтовки, полагаются фонарик и фиолетовая нарукавная повязка, – зажигает. В снопе света возникает грустное лицо, нежная безволосая кожа, чуть прикрытые глаза смотрят робко.

– Ты что тут делаешь?

Раб поднимает руку, закрывается от луча. Альберто гасит фонарик.

– Я дежурю.

Альберто вроде бы смеется. В темноте раздается звук, похожий, скорее, на долгую отрыжку, на пару секунд стихает, а потом снова разливается невеселой струей чистого, настырного презрения.

– За Ягуара стоишь, – говорит Альберто, – мне за тебя прям стыдно.

– А ты его смеху подражаешь, – мягко отвечает Раб, – это постыднее будет.

– Твоей маме я подражаю, – говорит Альберто. Он снимает винтовку с плеча, кладет на траву, поднимает воротник куртки, потирает руки и садится рядом с Рабом. – Курить есть?

Потная рука касается его руки и тут же отдергивается, оставив мятую папиросу, с повывезшим с концов табаком. Альберто зажигает спичку. «Осторожно, – шепчет Раб, – патруль увидит». «Блин, – говорит Альберто, – обжегся». Перед ними простирается плац, ярко освещенный, словно большой проспект в сердце города, скрытого туманом.

– Как это у тебя так долго курево держится? – спрашивает Альберто. – Мне в лучшем случае до среды хватает.

– Я мало курю.

– И чего ты такой пришибленный? Тебе вот не стыдно за Ягуара дежурить?

– Я делаю что хочу, – отвечает Раб. – Тебе-то что?

– Он с тобой, как с рабом, обращается, – говорит Альберто. – Да все с тобой, как с рабом, обращаются. Чего ты боишься всех?

– Тебя не боюсь.

Альберто смеется. Вдруг резко замолкает.

– Правда, – говорит он, – я смеюсь как Ягуар. Почему все за ним повторяют?

– Я не повторяю.

– Ты все равно что его пес. Тебя он нагнул.

Альберто отшвыривает окурок. Умирающий огонек поблескивает в траве у его ног, потом гаснет. Во дворе пятого курса по-прежнему пусто.

– Да, – повторяет Альберто, – тебя он нагнул.

Открывает рот, закрывает. Двумя пальцами снимает с языка крошку табака, ногтями рвет надвое, кладет обе частички обратно в рот, сплевывает.

– Ты, поди, никогда не дрался?

– Только раз, – отвечает Раб.

– Здесь?

– Нет. Давно еще.

– Поэтому тебя и нагибают, – говорит Альберто. – Знают, что ссышь. Время от времени надо махаться, чтоб тебя уважали. Иначе вся жизнь псу под хвост.

– Я не буду военным.

– Я тоже. Но здесь ты военный, хочешь не хочешь. А в армии надо быть мужиком, со стальными яйцами, понимаешь? Или ты жрешь, или тебя жрут, третьего не дано. Мне вот не нравится, когда меня жрут.

– Я не люблю драться, – говорит Раб. – Точнее, не умею.

– Этому нельзя научиться. Это вопрос смелости.

– Лейтенант Гамбоа тоже так говорил.

– Ну так это правда. Я не хочу быть военным, но тут становишься мужчиной. Учишься защищаться, жизни учишься.

– Ты ведь нечасто дерешься, – говорит Раб, – но к тебе не лезут.

– Я под чокнутого кошу, типа под дурачка. Это тоже помогает, чтобы тебя не прижучили. Если не отбиваться изо всех сил, не успеешь оглянуться – на шею сядут.

– Ты хочешь стать поэтом? – спрашивает Раб.

– Ты дурной, что ли? Я буду инженером. Отец отправит меня в Штаты учиться. Письма и рассказы я пишу, чтоб на курево заработать. Но это ничего не значит. А ты кем хочешь быть?

– Хотел быть моряком. Но больше не хочу. Мне не нравится армейская жизнь. Может, на инженера пойду.

Туман сгустился; фонари на плацу кажутся меньше, свет – слабее. Альберто шарит по карманам. Сигареты кончились два дня назад, но он машинально повторяет жест каждый раз, как хочет курить.

– У тебя осталось?

Раб не отвечает, но мгновение спустя Альберто видит протянутую в сумраке руку. Он дотрагивается до нее, нащупывает почти полную пачку. Достает папиросу, вставляет в рот, кончиком языка касается плотной островатой поверхности. Зажигает спичку, прикрывает огонек ладонью и подносит его, мирно теплящийся в этом гротике, к лицу Раба.

– Ты чего, мать твою, реवेश? – говорит Альберто и роняет спичку. – Опять обжегся, вот же ж.

Закуривает от новой спички. Затягивается, выпускает дым носом и ртом.

– Что с тобой такое?

– Ничего.

Альберто снова затягивается. Кончик папиросы мерцает, дым смешивается с туманом, лежащим низко, почти на земле. Двор пятого курса исчез. Казарменный корпус превратился в огромное неподвижное пятно.

– Что тебе сделали? – спрашивает Альберто. – Никогда не надо плакать, мужик.

– Куртка, – говорит Раб. – Увольнение мое похерили.

Альберто поворачивается к Рабу. Поверх рубашки у того надета коричневая безрукавка.

– Меня завтра должны были отпустить. А теперь я в жопе.

– Знаешь, кто спер?

– Нет. Из шкафчика вытащили.

– Сто солей вычтут, не меньше.

– Я не потому. Завтра смотр. Гамбоа меня лишит увольнения. А я уже две недели не выходил.

– Сколько сейчас времени?

– Без четверти час. Можем идти в казарму.

– Обожди, – говорит Альберто и встает. – Время есть. Сейчас добудем тебе куртку.

Раб вскакивает, как пружина, но потом застывает на месте, словно в ожидании чего-то неумолимо надвигающегося.

– Пошли, – говорит Альберто.

– Дежурные... – шепчет Раб.

– Да чтоб тебя. Я тут увольнением рискую, чтобы достать тебе куртку. Терпеть не могу трусов. Дежурные в седьмой уборной, у них там покер.

Раб плетется за ним. В сгущающемся тумане они идут к невидимым казармам. Ботинки шуршат по мокрой траве, а в мерный рокот моря вплетается теперь свист ветра, насквозь продувающего здание без окон и дверей, которое стоит между учебным корпусом и офицерским общежитием.

– Пойдем в десятый или в девятый, – говорит Раб. – Мелкие спят беспробудным сном.

– Так тебе куртка нужна или жилетка? – говорит Альберто. – Пошли в третий.

Они уже в галерее рядом с нужным взводом. Альберто тихонько толкает дверь, она бесшумно открывается. Просовывает в проем голову, будто зверь, обнюхивающий пещеру. По темной казарме разносится мирное посапывание. Дверь за ними закрывается. «А что, если он даст деру, вон как дрожит, а если разрыдается да как припустит, а что если Ягуар взаправду его нагибает, вон как потеет, а что если сейчас свет врубится, как мне смыться?» «В том конце, – шепчет Альберто Рабу на ухо, – есть шкафчик далеко от кроватей». «Что?» «Черт. Иди сюда». На цыпочках они медленно проходят казарму, растопырив руки, чтобы ни на что не налететь. «А если ослепнуть, стеклянные глаза вставлю, Златоножке скажу, на тебе глаза, только дай в долг, папа, хорош уже по бабам шататься, хорош, пост покидает только павший в бою». У шкафчика они останавливаются, Альберто пробегает пальцами по древесине. Запускает руку в карман, выуживает отмычку, другой рукой нащупывает замок, зажмуривается, стискивает зубы. «А что, если сказать, клянусь, господин лейтенант, я искал учебник по химии, а то провалюсь же завтра, а тебе, Раб, клянусь, не прошу слез моей матери, не прошу, что ты за куртку меня погубил». Отмычка царапает металл, проникает в скважину, цепляется, ходит вверх-вниз, вправо-влево, продвигается чуть вперед, замирает, резко дергается, замок открывается. Альберто с трудом вытаскивает ее обратно. Створка шкафчика начинает отворяться. Откуда-то с коек раздается сердитый голос, произносящий несвязное. Раб вцепляется пальцами Альберто в локоть. «Тихо ты, – шипит Альберто, – а то убью». «Что?» – не понимает Раб. Альберто осторожно водит рукой внутри шкафчика, в миллиметрах от шерстистого сукна куртки, как будто хочет погладить любимого человека по лицу или волосам и наслаждается неотвратимостью прикосновения, касаясь лишь его ауры, воздуха рядом. «Вынь шнурки у кого-нибудь из ботинок, – говорит он Рабу, – мне надо». Раб отпускает его локоть, нагибается, отходит во мрак. Альберто снимает куртку с вешалки, отводит защелку замка и медленно, аккуратно закрывает, стараясь пригасить звук. Крадется к двери. Чуть позже появляется Раб, кладет руку Альберто на плечо. Выходят.

– Нашивка есть?

Раб внимательно изучает куртку в свете фонарика.

– Нет.

– Иди в толчок и присмотрись, нет ли пятен. И пуговицы проверь, не другого ли цвета.

– Уже почти час, – говорит Раб.

Альберто кивает. В дверях первого взвода он оборачивается к Рабу.

– А шнурки-то?

– Я только один достал, – отвечает Раб. И, помолчав, добавляет: – Извини.

Альберто пристально смотрит на него, не чертыхаясь, не смеясь. Пожимает плечами.

– Спасибо, – говорит Раб. Он опять положил руку на плечо Альберто и заглядывает ему глаза. Лицо озаряет робкая, заискивающая улыбка.

– Да я ради смеха, – быстро говорит Альберто. – У тебя вопросов по химии нет? Я в ней не шарю.

– Нет, – отвечает Раб, – но у Круга, наверное, есть. Кава давно еще вышел и пошел к классам. Они сейчас решают, наверное.

– У меня денег нет. Ягуар хапуга.

– Одолжить тебе?

– А у тебя есть?

– Немножко есть.

– Двадцать солей найдется?

– Двадцать найдется.

Альберто хлопает его по плечу.

– Отлично, мужик, отлично! А то я совсем на мели. Если хочешь, могу рассказиками отдать.

– Нет, – говорит Раб, опуская глаза, – мне лучше письмами.

– Письмами? У тебя девушка есть? У тебя?

– Пока еще нет. Но, может, будет.

– Ладно, договорились. С меня двадцать писем. Но мне надо посмотреть письма от нее. Чтобы стиль знать.

В казармах пробуждается жизнь. Из разных дортуаров курса до Альберто с Рабом доносятся шаги, хлопанье дверей, временами ругательства.

– Сменяются, – говорит Альберто, – пошли.

Они заходят в казарму. Альберто идет к койке Вальяно, наклоняется, вытаскивает шнурок у него из ботинка. Потом начинает обеими руками трясти спящего.

– Мать твою, мать твою, – испуганно вскрикивает тот спросонья.

– Час ночи, – сообщает Альберто. – Иди дежурь.

– Если раньше времени разбудил, убью гада.

На другом конце казармы Удав орет на разбудившего его Раба.

– Вот тебе винтовка, вот тебе фонарик, – говорит Альберто. – Если хочешь, дрыхни дальше. Но патруль во втором взводе, предупреждаю.

– Правда, что ли? – говорит Вальяно, садясь на койке.

Альберто идет к себе, раздевается.

– Вот шутники, блин, – говорит Вальяно, – клоуны сраные.

– Что такое?

– Шнурок сперли.

– Тихо там! – кричит кто-то. – Дежурный, заткни этих пидоров.

Альберто слышит, как Вальяно крадется в темноте. И характерный шум рядом с койкой.

– Шнурок уведят! – взывает он.

– Дождешься, морду тебе начищу, Поэт, – говорит Вальяно и зевает.

Через мгновение тишину пререзает свисток часового. Альберто не слышит, он спит.

Улица Диего Ферре – всего триста метров в длину, и, зазевавшись, прохожий легко может принять ее за тупик и пропустить. Если смотреть с угла проспекта Ларко, видно, что в двух кварталах ее замыкает двухэтажный дом с садиком за зеленой оградой. На самом деле он стоит на узкой улочке Порты, которая пересекает Диего Ферре и душит ее в зачатке. Между проспектом Ларко и улицей Порты улицу Диего Ферре перерезают еще две параллельные – Колумба и Очаран. В двухстах метрах к западу обе они резко обрываются Резервной набережной с парапетом из красного кирпича, змеящейся вдоль всего Мирафлореса и служащей городу границей, потому что возвели ее у края утесов, над шумливым, серым, чистым лимским морем.

Между проспектом Ларко, набережной и улицей Порты втиснута сотня домов, два или три продуктовых магазина, аптека, лимонадный киоск, сапожная мастерская (которую не сразу увидишь в простенке у гаража) и огороженный пустырь, на котором работает нелегальная прачечная. Поперечные улицы обсажены деревьями, Диего Ферре – нет. Вся эта территория составляет один микрорайон, который никак не называется. Местная команда по футболу первую заявку на ежегодный турнир клуба «Террасас» подала под именем «Ребята из Веселого квартала». Но, как только турнир закончился, оно забылось. К тому же авторы криминальной хроники под Веселым кварталом обычно подразумевали целиком состоявшую из борделей улицу Уатика в районе Ла-Виктория, и ассоциации получались неприличные. Поэтому теперь ребята называют эти места просто «кварталом». А если кто-то желает уточнить, какой именно квартал Мирафлореса имеется в виду – есть ведь еще 28 июля, Редут, Французская улица, Камфарный, – говорят просто «квартал Диего Ферре».

Дом Альберто – третий за перекрестком с Колумба, на левой стороне улицы. Впервые он оказался там поздним вечером, когда почти всю мебель из старого дома в Сан-Исидро уже перевезли в этот. Он показался ему больше предыдущего и лучше – по двум причинам: во-первых, его спальня здесь была не так близко к родительской, во-вторых, задний двор позволял надеяться, что разрешат завести собаку. Но и недостатки у нового адреса имелись. В Сан-Исидро отец одноклассника каждый день возил их обоих в школу Ла Салье. Теперь же ему предстояло ездить на автобусе, выходить на проспекте Уилсона и оттуда топать пешком не меньше десяти кварталов, потому что Ла Салье, даром что это школа для детей из хороших семей, находится в самом сердце Бреньи, где сплошные самбо³ и работяги. А это значит – раньше вставать и уматывать из школы сразу после обеда. Напротив дома в Сан-Исидро была книжная лавка, и хозяин разрешал ему читать свежие номера «Пенеки» и «Билликена»⁴ за прилавком или даже брать на дом, с условием, что не помнет и не испачкает. К тому же переезд лишил его волнующего развлечения – взбираться на крышу и наблюдать за домом семейства Нахар, где по утрам играли в теннис, в хорошую погоду обедали в саду под разноцветными зонтиками, а вечерами устраивали танцы, и он мог следить за парочками, которые тайком убежали целоваться на корт.

Наутро после переезда он рано встал и в прекрасном настроении отправился в школу. В полдень вернулся в новый дом. Вышел из автобуса у парка Саласар – он еще не знал, как называется эта травяная эспланада, сбегаящая к морю, – поднялся по пустой улице Диего Ферре и вошел в дом. Мама грозилась служанке, что уволит ее, если та и на новом месте только и будет знать, что лясы точить с местными кухарками и шоферами. После обеда отец сказал: «Мне надо идти. Важные дела». Мама закричала: «Как тебе не совестно мне в глаза смотреть, изменщик!» – потом в сопровождении домоправителя и служанки взялась за дотошный осмотр всего домашнего имущества с тем, чтобы проверить, не потерялось и не сломалось ли что при переезде. Альберто пошел к себе, рухнул на кровать и стал бездумно выводить каракули на обложках учебников. Через некоторое время за окном послышались мальчишеские голоса. Иногда они прерывались, раздавался удар, свист, смачный шлепок мяча о стену, и голоса возобновлялись. Альберто соскочил с кровати и выглянул с балкона. На одном мальчике была рубашка вырви глаз, в красно-желтую полоску, на втором – шелковая белая, расстегнутая. Первый был высокий, светловолосый, говорил, смотрел и двигался нахально; второй, курчавый брюнет, маленький и коренастый, действовал очень ловко. Блондин стоял на воротах в дверях гаража, брюнет бил новеньким мячом. «Возьми-ка этот, Плуту», – говорил брюнет. Плуту съезжился, состраивал драматичную мину, махал руками, утирал пот со лба, высмаркивался, притворялся, будто бросается в сторону, и, если брал мяч, оглушительно хохотал. «Моя мама лучше забивает, Тико, – глумился он, – я твои мячи одним носом беру». Брюнет умело принимал мяч обратно, носком ноги устанавливал, прикидывал расстояние, ударял и почти всегда забивал. «Руки дырявые, – издевательски кричал он, – мазила! Сразу предупреждаю: сейчас будет закрученный в правый угол». Поначалу Альберто смотрел на них холодно, а они его вроде бы не видели, но вскоре стал выказывать сдержанный, чисто спортивный интерес: когда Тико забивал или Плуту отбивал, он степенно, без улыбки кивал, как человек понимающий. Потом начал вслушиваться в шутки приятелей, реагировал, и они временами показывали, что заметили его присутствие: оборачивались к нему, словно призывая в арбитры. Завязалась беззвучная беседа посредством взглядов, улыбок, кивков. Плуту в очередной раз отбил – ногой – и мяч улетел далеко в сторону. Тико побежал за ним. Плуту посмотрел вверх, на Альберто.

– Привет, – сказал он.

³ Самбо – принятое в Перу и некоторых других странах Латинской Америки обозначение человека, имеющего и африканские, и индейские корни.

⁴ «Пенека» – чилийский детский журнал, выходивший с 1908 по 1960 год, «Билликен» – аргентинский детский журнал, выходящий с 1919 года.

– Привет, – ответил Альберто.

Плуту держал руки в карманах и подскакивал на месте, как профессиональные игроки перед матчем, когда разминаются.

– Будешь тут жить? – спросил он.

– Да. Мы сегодня переехали.

Плуту кивнул. Подошел Тико. Мяч он нес на плече, придерживая одной рукой. Взглянул на Альберто. Они улыбнулись друг другу. Плуту сказал Тико:

– Он переехал. Будет теперь здесь жить.

– А, – сказал Тико.

– Вы тут рядом живете? – спросил Альберто.

– Тико на Диего Ферре, у проспекта, – сказал Плуту, – а я за углом, на Очаран.

– На одного пацана больше в квартале, – сказал Тико.

– Меня все называют Плуту. А его – Тико. И забивает он хуже, чем моя мама.

– Папаша у тебя как, хороший человек?

– Более или менее, – сказал Альберто, – а что?

– Нас погнали со всей улицы, – сказал Плуту. – Мяч отбирают. Играть не дают.

Тико начал бить мячом об землю, как в баскетболе.

– Спускайся, – предложил Плуту, – покидаем пенальти. А когда придут остальные, сыграем матч.

– Ладно, – сказал Альберто, – но учтите, я в футболе не очень.

Кава нам сказал: за солдатским баракком есть куры. Бздишь, индеец, нету там никого. Сам видел, мамой клянусь. Ну, мы и пошли после ужина, в обход казарм, задворками проползли, как на полевых. Видишь? Видите? – говорил, гаденыш, – Белый курятник с пестрыми курами, чего вам еще, говнюкам, надо? Черную или рыжую будем? Рыжая потолще. Чего ждешь, лох? Сейчас ухвачу ее и крылья переломаяю. Клюв ей заткни, Удав, легко сказать. Не получилось; не убегай, пернатая, цыпа-цыпа-цыпа. Она его боится, видишь, как косит, а он уже и хрен вывалил, смотрите, говорит, гаденыш. Но пальцы вправду клевала, зараза. Пошли на стадион, и завяжите ей уже клюв. А что если Кучерявый его отымеет? Лучше всего, говорил Ягуар, связать лапы и клюв замотать. А крылья? А то еще охолостит кого-нибудь крылом, как отрежет? Ты ей не нравишься, Удав. Правда, что ли, индеец, и ты тоже? Я нет, но видел своими глазами. Чем ее связывать-то? Ну вы, блин, дикари, курица, она хоть мелкая, это все равно что игра, но чтобы ламу. А что если Кучерявый его отымеет? Мы курили в уборных, в учебном корпусе, гасите курево, полуночники. Ягуар от души проталкивает, прямо старается. Ну как, Ягуар, получилось, получилось? Заткнитесь, сбиваете, сволочи, мне надо сосредоточиться. Ну хоть кончик-то? А не отыметь ли нам пухленького? – сказал Кучерявый. Кого? Да из девятого взвода, пухленький такой. Никогда его не щипал? Ух, мысль-то неплохая, но вот даст ли? Мне сказали, Ланьяс его шпарит, когда в патруле. Наконец-то. Получилось, получилось? – интересуется, гаденыш. Кто первый? Мне аж расхотелось, так вы орете. Вот нитка для клюва. Индеец, держи ее, а то улетит. Добровольцы есть? Кава держал под крыльями, Кучерявый внушал: не крути ты клювом, дура, все одно перевяжут, а я сматывал лапы. Тогда давайте жребий кинем, спички есть? Скуси головку у одной и все спички мне покажи, со мной такие номера не проходят. Кучерявому выпадет. Слушай, ты точно знаешь, что он даст? Нет, точно не знаю. Смешок этот его, едкий. Ладно, я согласен, Кучерявый, но только так, подурочиться. А если не даст? Цыц, сержантом несет, хорошо еще далеко прошел, я настоящий мужик. А если сержанта отымеет? Удав собаку натягивает, говорит, гаденыш, почему тогда не пухленького, он хотя бы человек. Его в увольнение не пустили, я его видел в столовке, он восемь псов из-за своего стола расшугал. Может, и не даст. Кто зассал, я зассал? Да я целый взвод пухляков отымею, и как с гуся вода. Надо составить план, сказал Ягуар, как проще будет. Кому жребий выпал?

Курица тихо лежала на полу и пыталась разевать клюв. Индейцу, видите, он уже рукой работает? Не, не встает, только время теряем, пусть лучше Удав, он вон стояком одеяло подымает. Ничего не поделаешь, жребий есть жребий, или ты ее, или мы тебя, как вы лам у себя там в деревне. А рассказиков не найдется? Или приведем Поэта, пусть ему наплетет чего-нибудь такого, от чего дыры растут? Я специально одеяло подымаю, чуваки, сосредоточился – и готово дело, это сила воли. А если я подхвачу чего? Что такое, Кавушка, дорогуша, давно ты заднюю даешь? Удав здоровее здоровых с тех пор, как Недокормленной вставляет. Что тебя тревожит, вшивенький? Или ты не знаешь, что куры чище собак, гигиеничнее? Договорились, натягиваем пухлого, даже если застукают. А патруль? Сегодня Уарина, он тот еще лох, по субботам вообще патруль ни о чем. А если он донесет? Общее собрание: изнасилованный стукачок. Вот ты бы рассказал, что тебя того? Пошли, отбой скоро. И не размахивайте вы сигаретами, чтоб вас совсем. Ну вот, говорит, гаденыш, теперь сам встал, давайте ее. Сам держи. Я сам? Да, ты сам. Ты уверен, что у кур дырка есть? Разве только не целка попалась. Вы гляньте, как она извивается, может, это петух-педрила? Вы можете не смеяться и не говорить? Пожалуйста. Противный смешок такой. Вы видали, как он рукой водит, индеец-то? Щупаешь ее, разбойник. Я ищу, не толкайтесь, нашел. Что, простите? Есть у них дырка, заткнитесь, я вас умоляю, и ради всего святого, не ржите, а то повиснет хобот. Ну дикарь. Все индейцы, говорил мой брат, мудаки, хуже не бывает. Предатели и трусы, а уж хитрожопые. Зажми ей клюв, так тебя раз-этак! Лейтенант Гамбоа, здесь курицу насилюют. Уже десять, если не больше, – сказал Кучерявый, – даже, может, четверть одиннадцатого. Дежурных смотрели? Я и дежурного отымею. Да ты всех отымеешь, по тебе видно, маму смотри не отымей ненароком. В казарме штрафных не было, а во втором были, а мы босые вышли. Я уже весь ооченел, как бы не простыть. Прямо говорю: если услышу свисток, сразу рву когти. По лестнице поднимемся внаклонку, ее с губы видно. Серьезно? Тихонько зайдем, а Ягуар, какой козел сказал, что всего двое штрафных? Там их штук десять дрыхнет. Ну так пойдете? Кто? Ты знаешь, где его койка, ты и иди вперед, а то еще не того натянем. Третья, слышите, пахнет аппетитным пухляшом. У нее перья выпадают, вроде сдохнуть собирается. Что, уже? Рассказывай. Ты всегда так быстро кончаешь или только с курами? Вы посмотрите на эту курву, индеец ее уморил. Я? Задохлась, дырки-то все заткнуты. Да не, она дергается, а дохлой притворяется. Как вы думаете, животные чувствуют? Что чувствуют, придурок, они же бездушные. Я имею в виду, удовольствие, как женщины. Недокормленная да, точь-в-точь, как женщина. Меня от тебя воротит, Удав. Чего только не бывает. Смотрите, курва с пола поднялась. Ей, видать, понравилось, еще хочет. Шатается, как пьяная. Теперь сожрем ее? Как бы кто не забеременел, а то индеец ей там такое отвалил. Как их, куриц, убивают-то? Да ладно, огонь микробов убивает. Хватаешь за шею и на весу сворачиваешь. Держи ее крепко, Удав, сейчас я бить буду, получи одиннадцатиметровый, курва. Ну гол, чо, видна нога мастера. Теперь точно сдохла, только она вся в лепешку, черт. Черт, да она развалилась, кто ее теперь жрать станет, еще и пылью воняет, и ногами. Поклянись, что огонь микробы убивает. Давайте костер разведем, только повыше, за оградой, там не видать. Молчи, или четвертую. Взбирайся уже на него, придурок, мы его крепко держим. Как отбивается, мелкий, как отбивался, как, чо ты ждешь-то, взбирайся, не видишь, он голышом спит, как тюлень. Слушай, Удав, ты не зажимай ему так рот, еще задохнется. Он меня сейчас скинет, а я так, только притираюсь, говорил Кучерявый, не дергайся, а то убью на хрен, я же тебе не всаживаю, психованный. Эй, уматываем, мелкие проснулись, вот блин, все проснулись мелкие, сейчас месиво будет, мало не покажется. Какой-то умник свет зажег. И заорал, Нашего насилюют, ребзя, в атаку! Я от света очумел, потому, наверное, и перестал ему рот зажимать. Спасайте, ребята! Я такой крик слышал, только когда мать в брата стулом швырнула. А вас, мелких, кто приглашал, чего вы повскакивали, а свет на кой было зажигать? Он что, взводный? Не позволим над нашим надругаться, пидарасы. Я не понял, я сплю, что ли? С каких это пор вы так разговариваете со старшими курсами? А ну, честь отдали. А ты чего орешь?

Не видишь, шутим мы. Обождите, сейчас я им, мелким, задам. А Ягуар все еще ржал, я под его смех лупил мелких. Так, мы пошли, а вы зарубите себе на носу: если кто-то хоть пикнет, всю казарму отымоем уже взаправду. С мелкими оно всегда так, себе дороже, они зажатые и шуток не понимают. Спускаться тоже внаклонку будем? Фу, говорил Кучерявый, обсасывая косточку, мясо все горелое и в перьях.

II

Когда на рассвете ветер врывается в Ла-Перлу, относит туман к морю, развеивает его, и Военное училище имени Леонсио Прадо проступает четко, как задымленная комната, в которой распахнули окна, безымянный солдат, зевая и тря глаза, появляется на пороге барака и бредет к кадетским казармам. Горн в его руке раскачивается в такт шагам и поблескивает в неясном свете. Солдат входит во двор третьего курса, останавливается посередине, на равноудаленном расстоянии от четырех углов здания. В своей зеленоватой форме, затушеванной последними ошметками тумана, он смахивает на привидение. Постепенно приходит в движение, оживает, потирает руки, сплевывает. Потом дует в горн. Слышит эхо и через несколько секунд – ругательства псов, срывающих на нем злость от того, что ночь кончилась. Под отдаленные чертыхания горнист направляется к казармам четвертого курса. Дежурные последней смены вышли к дверям – они слышали побудку псов и теперь зубоскалят, обзывают горниста, иногда швыряются камнями. Солдат идет к пятому курсу. Он окончательно проснулся и шагает бодрее. Пятый курс не реагирует на горн, поскольку знает, что от подъема до свистка к построению – пятнадцать минут, и половину этого времени можно проваливаться в постели. Солдат возвращается в барак, потирая руки и сплевывая. Его не пугают возмущенные псы, хмурые четверокурсники, он их едва замечает. Если только на дворе не суббота. По субботам бывают полевые занятия, и подъем трубят на час раньше, поэтому солдаты боятся дежурить. В пять утра еще глаз коли, и кадеты, пьяные сном и яростью, обстреливают горниста из окон самыми разными снарядами. По субботам горнисты нарушают устав: играют побудку не во дворах, а с плаца, и совсем наскоро.

По субботам пятый курс может валяться всего на две или три минуты дольше положенного, потому что на умывание, одевание, застилание постелей и построение дают восемь минут вместо пятнадцати. Но сегодня необычная суббота. Полевые занятия у пятого курса отменили из-за экзамена по химии. Когда старшие слышат побудку – в шесть, – псы и четвертый курс уже маршируют через ворота училища к пустырю, соединяющему Ла-Перлу с Кальяо.

Через мгновение после подъема Альберто, не открывая глаз, думает: «Сегодня увольнение». Кто-то говорит: «Без четверти шесть. Камнями бы гада закидать». Казарма снова погружается в тишину. Альберто открывает глаза: в окна льется неверный серый свет. «В субботу всегда должно быть солнечно». Дверь уборных открывается: Альберто видит бледное лицо Раба: тот идет по казарме, и с каждой койки несутся ему вслед ругательства. Он причесан и выбрит. «До подъема встает, чтобы первым на построение успеть», – думает Альберто. Закрывает глаза. Раб остановился у его койки и трогает его за плечо. Приоткрывает глаз: голова Раба возвышается над костлявым туловищем, тонущим в синей пижаме.

– Сегодня лейтенант Гамбоа.

– Знаю, – отвечает Альберто, – время есть.

– Ладно. Я думал, ты спишь.

Слабо улыбается и уходит. «Хочет мне в друзья набиться», – думает Альберто. Снова замуривается и замирает: мокрая мостовая на улице Диего Ферре блестит; тротуары на Порта и Очаран покрыты листьями, сбитыми ночным ветром; по улице идет элегантный молодой человек и курит «Честерфилд». «Сегодня точно пойду к шлюхам, или я не я».

– Семь минут! – орет Вальяно от двери. Начинается суматоха. Визжат ржавые койки, скрипят дверцы шкафчиков, каблуки ботинок стучат по плиточному полу, тела, касаясь или ударяясь, издают глухой звук, но поверх всего, как языки пламени поверх дыма, прорываются проклятия и брань. Непрерывные, выплескивающиеся из всех глоток разом, они, впрочем, беззлобны и относятся к таким абстрактным мишеням, как Бог, офицеры и мать, и кадеты ценят в них больше музыку слов, чем смысл.

Альберто соскакивает с койки, надевает носки и ботинки, все еще без шнурков. Черты хаотичны. К тому времени, когда он заканчивает шнуровать ботинки, большинство уже застелило койки и одевается. «Раб! – кричит Вальяно. – Спой мне! Люблю тебя слушать, когда умываюсь». «Дежурный! – взывает Арроспиде. – У меня шнурок сперли. Это ты виноват». «Плакато твое увольнение, козел». «Это все Раб, – говорит кто-то. – Честное слово. Я его видел». «Надо сдать его капитану, – предлагает Вальяно, – нам тут воры не нужны». «Ох! – раздается сиплый голос, – негрityночка воров боится». «Ох, ох, ох!» – вторят ему. «Ох, ох, ох!» – гудит вся казарма. «Сукины вы дети», – отвечает Вальяно. И выходит, хлопнув дверь. Альберто оделся. Он бежит в уборные. У соседней раковины причесывается Ягуар.

– Мне нужно пятьдесят баллов по химии, – говорит Альберто, не сплевывая зубную пасту. – Сколько возьмешь?

– Попал ты, поэт, – Ягуар смотрит в зеркало и тщетно старается прилизать волосы: упрямый светлый ежик встопорщивается, как только он убирает расческу. – Нету у нас вопросов. Мы не ходили.

– Не достали?

– Даже не пытались.

Раздается свисток. Кипучий гул в казармах и уборных нарастает и разом обрывается. Во дворе гремит голос лейтенанта Гамбоа:

– Командиры взводов, записать трех последних!

Захлебнувшийся гул снова ширится. Альберто бросается бежать: убирает в карман зубную щетку и гребенку, полотенце оборачивает вокруг талии между рубашкой и курткой. Построение идет полным ходом. Он с разбегу влипает в спину впереди стоящему, сзади кто-то влипает в спину ему. Ухватывает Вальяно за пояс и подскакивает на месте, чтобы вновь прибывающие не пинали по ногам, стараясь расчистить себе место в тесно сбитых кучках кадетов. «Не лапай меня, козлина», – возмущается Вальяно. Мало-помалу выстраиваются более или менее упорядоченные колонны, и взводные начинают пересчитывать личный состав. В хвосте все еще сумятица и перепалки – подоспевшие последними стараются выбить себе место, ругаясь и орудуя локтями. Лейтенант Гамбоа наблюдает построение с конца плаца. Он высокий, крепкий. Фуражка лихо сдвинута на бок; он медленно поворачивает голову из стороны в сторону и насмешливо улыбается.

– Тишина! – кричит он.

Кадеты немеют. Лейтенант стоит подбоченясь, потом разводит руки в стороны и роняет вдоль тела. Шагает к батальону; суховатое, очень смуглое лицо помрачнело. В трех шагах за ним следуют сержанты Варуа, Морте и Песоа. Гамбоа останавливается. Смотрит на часы.

– Три минуты, – произносит он. Обводит строй взглядом, как пастух – стадо. – Псы и те строятся за две с половиной!

По батальону прокатывается волна придушенных смешков. Гамбоа выпячивает подбородок, поднимает брови: мигом становится тихо.

– Я имею в виду, кадеты третьего курса.

Новая волна хихиканий, теперь посмелее. Физиономии у кадетов по-прежнему серьезные, смех зарождается в желудке и умирает у губ, не меняя ни взгляда, ни выражения лица. Гамбоа быстро кладет руку на пояс: вновь тишина, внезапная, как удар ножом. Сержанты завожжено смотрят на него. «Он сегодня в духе», – бормочет Вальяно.

– Командиры – говорит Гамбоа, – доложить состав взводов.

Он подчеркивает последнее слово, произносит его медленно, чуть прикрыв веки. В хвосте раздается вздох облегчения. Гамбоа делает шаг вперед, сверлит глазами колонны неподвижных кадетов.

– И доложить трех последних!

В задних рядах поднимается глухой гул. Взводные шныряют с листочками и карандашами в руках. Строй гудит, как рой насекомых, силящихся вырваться за москитную сетку. Краем глаза Альберто замечает жертв из первого взвода: Уриосте, Нуньес, Ревилья. Слышит, как Ревилья шепчет: «Эй, Макака, тебя все равно на месяц заперли. Что тебе шесть лишних баллов? Уступи место». «Десять солей», – отвечает Макака. «У меня сейчас нету. Хочешь, буду должен?» «Не хочу, пропадай».

– Разговорчики! – кричит лейтенант. Плывущий над рядами гул начинает смолкать и вскоре почти полностью утихает.

– Молчать! – зычно орет лейтенант. – Тишина, чтоб вас!

Его слушаются. Взводные выныривают из рядов, вытягиваются по стойке смирно в паре метров от сержантов, щелкают каблуками, отдают честь. Сдают листочки, говорят: «Разрешите вернуться в строй, господин сержант». Сержант делает знак рукой или отвечает: «Разрешаю». Кадеты легким шагом возвращаются на свои места. Сержанты передают листочки Гамбоа. Лейтенант залихватски щелкает каблуками и отдает честь по-особому: подносит руку не к виску, а ко лбу, так что она почти закрывает правый глаз. Оцепеневшие кадеты наблюдают за перемещениями листочков. Гамбоа складывает из бумажек веер. Почему он не дает команду маршировать? Окидывает батальон лукавым взглядом. И вдруг улыбается.

– Шесть штрафных баллов или прямой угол? – говорит он.

Батальон взрывается аплодисментами. Некоторые выкрикивают: «Да здравствует Гамбоа!»

– Мне послышалось или разговорчики в строю? – удивленно говорит лейтенант. Кадеты умолкают. Гамбоа прогуливается вдоль строя, держа руки на поясе.

– Из каждого взвода, – командует он, – трое последних сюда. Быстро.

Уриосте, Нуньес и Ревилья срываются с места. Вальяно бросает им вслед: «Повезло вам, девочки, что сегодня Гамбоа». Перед лейтенантом они встают навтыжку.

– Что предпочитаете? – спрашивает Гамбоа. – Прямой угол или шесть баллов? Выбирайте.

Все трое отвечают: «Прямой угол». Лейтенант кивает и пожимает плечами. «Я вас как родных знаю», – негромко произносит он. Нуньес, Уриосте и Ревилья благодарно улыбаются. Гамбоа отдает команду:

– Стать в прямой угол!

Три туловища сгибаются в талии, так, чтобы верхняя половина оказалась параллельна земле. Гамбоа внимательно смотрит и локтем немного пригибает голову Ревилья.

– Яйца прикройте, – велит он, – двумя руками.

И делает знак сержанту Песоа, невысокому мускулистому метису с крупным кровожадным ртом. Он отличный футболист и зверски бьет с ноги. Песоа отходит назад, встает немного боком. Молниеносно разбегается и ударяет. Ревилья издает стон. Гамбоа велит ему вернуться в строй.

– Пффф! – говорит он. – Слабеете, Песоа. Он и с места не сдвинулся.

Сержант бледнеет и косо зыркает на Нуньеса. На этот раз он бьет с отяжкой, носком. Нуньес с криком слетает с позиции, пробегает на неверных ногах пару метров и валится как подкошенный. Песоа искательно вглядывается в лицо лейтенанта. Тот улыбается. Кадеты улыбаются. Нуньес, который успел подняться и потирает зад, тоже улыбается. Песоа снова разго-

няется. Уриосте самый дюжий кадет во взводе, а может, и во всем училище. Он немного расставил ноги, чтобы лучше держать равновесие. От пинка он даже не пошатывается.

– Второй взвод, – говорит Гамбоа, – трое последних.

Все взводы проходят через прямой угол. Кадетов из восьмого, девятого и десятого, самых младших, пинки сержантов отправляют до самого плаца. Гамбоа обязательно интересуется у каждого, что тот предпочитает – шесть штрафных баллов или прямой угол. И добавляет: «Вы свободны выбирать».

Альберто сначала следит за процедурой, а потом переключается на попытки вспомнить последние уроки химии. В памяти плавают неясные формулы, обрывочные названия. «А Вальяно, интересно, учил?» Каким-то образом рядом с ним оказывается Ягуар. Альберто шепчет ему: «Ну, хоть часть вопросов продай. Сколько хочешь?» «Ты больной, блин? Я же сказал, нет у нас вопросов. Хватит про это трепаться. Ради твоего же блага».

– Повзводно шагом – марш! – командует Гамбоа.

По мере входа в столовую строй рассыпается; кадеты снимают пилотки и, громко переговариваясь, идут к своим столам. Столы на десять человек, пятый курс занимает ближние к выходу. Когда все три курса оказываются внутри, дежурный капитан дает первый свисток: кадеты встают навтыжку у своих мест. По второму свистку садятся. За обедом и ужином из репродукторов по огромному залу разносятся марши и всяческая перуанская музыка – вальсы и маринеры, любимые на побережье, и андские уайно. За завтраком столовая полнится только голосами кадетов, нескончаемым потоком болтовни: «Говорю вам, все меняется, а то как же, господин кадет, а вы всю отбивную съесть собираетесь? Оставьте нам хоть кусочек, ну, хоть хрящик, господин кадет. Да уж, с нами они наплакались. Эй, Фернандес, почему мне так мало риса, там мало мяса, так мало желе, эй, в еду чур не харкать, эй, у меня ведь на морде написано, что врезать могу, не играйте с огнем, псы вы этикие. Если б мои псы напускали слюней в суп, они бы у нас Арроспиде голышом гусиным шагом бегали, пока легкие не выблюют. Как примерные псы говорят? Желаете еще отбивной, господин кадет, кто сегодня стелет мне постель, я, господин кадет, кто со мной сегодня куревом делится, я, господин кадет, кто меня инка-колой⁵ в «Перлите» угощает, я, господин кадет, кто мои слюни жрет, ну-ка, кто».

Пятый курс вваливается и рассаживается. Три четверти столов пустуют, и столовая кажется еще больше. Первый взвод занимает три стола. За окнами простирается голый пустырь. Викунья неподвижно лежит на траве, уши наостроены, большие влажные глаза смотрят в пустоту. «Ты-то думал, я не вижу, но я видел, ты по-мужски локтями работал, чтобы со мной рядом сесть; ты-то думал, я не вижу, но, когда Вальяно сказал, кто подает, и все заорали, Раб, а я сказал, а почему не ваши мамы, и все завели, ох, ох, ох, я видел, ты опустил руку и чуть не потрогал меня за коленку». Восемь гнусавых голосов продолжают выводить женские охи. Некоторые в возбуждении составляют большой и указательный пальцы кружком и тычут в нос Альберто. «Это я-то, по-вашему, пидор? – говорит он. – А если штаны сниму?» «Ох, ох, ох». Раб поднимается на ноги и начинает разливать молоко по стаканам. Ему хором угрожают: «Не долъешь молока, кастрируем». Альберто поворачивается к Вальяно:

– Химию знаешь, чернявый?

– Нет.

– Списать дашь? За сколько?

Глаза у Вальяно навывкате. Они недоверчиво бегают, оглядывая стол. Он понижает голос:

– Пять писем.

– А мама твоя, – спрашивает Альберто, – как поживает?

– Хорошо, – говорит Вальяно, – Если устраивает, скажешь.

⁵ Инка-кола – перуанская марка прохладительного напитка на основе вербены.

Раб садится. Протягивает руку за хлебом. Арроспиде бьет его по руке, хлеб падает на стол и отскакивает на пол. С хохотом Арроспиде нагибается и подбирает. Смех обрывается. Когда Арроспиде появляется из-под стола, он предельно серьезен. Он встает, вытягивает руку и хватает Вальяно за шею. «Надо, говорю, быть полным идиотом, чтобы цвета не разобрать при таком освещении. Или конченным невезунчиком. Воровать тоже ум нужен, хоть шнурки, хоть боты, а если бы Арроспиде ему башкой нос сломал, черный и белый, надо же». «Я и внимания не обратил, что он черный», – говорит Вальяно и расшнуровывает ботинок. Арроспиде забирает шнурок, он уже успокоился. «Не отдал бы сам – схлопотал бы дюлей, черножопый», – говорит он. Хор снова гугниво заводит медовыми, делаными голосами: «Ох, ох, ох». «Тоже мне, напугал, – отвечает Вальяно. – Я тебе до конца года весь шкафчик обнесу. А сейчас мне бы шнурок достать. Кава, продай шнурок, ты ж у нас коробейник. Эй, я с тобой разговариваю, чего молчишь, вшивый?» Кава медленно поднимает глаза от пустого стакана и с ужасом смотрит на Вальяно. «Что? – говорит он. – Что?» Альберто склоняется к Рабу:

– Ты точно видел Каву ночью?

– Да, – говорит Раб, – это точно он был.

– Лучше никому не говори, что ты его видел. Что-то случилось. Ягуар сказал, они не ходили за вопросами. И посмотри на индейца.

Раздается свист. Все встают из-за столов и бегут на пустырь, где их, скрестив руки на груди, ждет Гамбоа со свистком в зубах. Испуганная викунья бросается наутек от надвигающейся толпы. «Скажу ей, видишь, я химию из-за тебя завалил, я из-за тебя сам не свой, Златоножка, видишь. Возьми двадцать солей, которые мне Раб одолжил, и, если хочешь, я тебе письма буду писать, но только будь умницей, не пугай меня, не делай так, чтоб меня на химии завалили, видишь, Ягуар мне ничегошеньки не продает, видишь, я такой же нищий, как Недокормленная». Взводные опять всех пересчитывают, докладывают сержантам, а те лейтенанту Гамбоа. Начало моросить. Альберто носком пихает Вальяно в ногу. Тот бросает на него косой взгляд.

– Три письма, негр.

– Четыре.

– Ладно, четыре.

Вальяно кивает и облизывает губы, проверяя, не осталось ли на них хлебных крошек.

Класс первого взвода – на втором этаже нового, хоть и облупившегося, изъеденного сыростью здания, которое стоит неподалеку от актового зала – большого сарая с грубо сколоченными скамейками, где раз в неделю кадетам показывают кино. Моросящий дождь превратил плац в бездонное зеркало. Ботинки опускаются на блестящую поверхность, топают и поднимаются в такт свистку. Строевой шаг сменяется на лестнице какой-то рысью: ботинки скользят, сержанты сыпят проклятиями. Из классов виден с одной стороны бетонированный двор, по которому в любой другой день шли бы на учебу четверокурсники и псы, а пятый курс прицельно плевал бы и швырялся в них. Вальяно один раз метнул деревянную чурку. Раздался крик, и пес бросился прочь, зажимая руками ухо, – сквозь пальцы сочилась темная кровь и пачкала куртку. Весь взвод оштрафовали на две недели, но виновника никто не выдал. Из первого увольнения после отсидки Вальяно принес по две пачки сигарет всем тридцати однокашникам. «Больно много, – бухтел он, – пачки на нос хватит». Ягуар с друзьями его предупредили: «Или две, или соберется Круг».

– Только двадцать баллов, – говорит Вальяно, – не больше. Не стану я головой рисковать из-за пары писем.

– Нет, – отвечает Альберто, – минимум тридцать. И я тебе сам буду вопросы пальцем показывать. И диктовать ничего мне не надо. Просто покажешь свою работу.

– Ни фига подобного, буду диктовать.

Рассаживаются за парты по двое. Перед Альберто и Вальяно, которые сидят на последней, – Удав и Кава, оба широкоплечие, за ними отлично получается списывать.

– Как в прошлый раз? Ты мне нарочно все неправильно нашептал.

Вальяно смеется.

– Четыре письма, – говорит он, – по две страницы.

Появляется сержант Песоа со стопкой листов в руках. Осматривает класс маленькими злобными глазками. Время от времени кончиком языка дотрагивается до редких усиков.

– Кто достанет учебник или посмотрит на соседа, получает неуд за экзамен. И шесть штрафных баллов в придачу. Командир взвода, раздать задания.

– Крыса.

Сержант подсказывает, краснеет, глаза становятся похожи на шрамы. Детской рукой мнет рубашку.

– Все отменяется, – говорит Альберто, – Я не знал, что будет крыса. Лучше уж я с учебника скатаю.

Арроспиде раздает задания. Сержант смотрит на часы.

– Сейчас восемь. У вас сорок минут.

– Крыса.

– Среди вас ни одного мужика, что ли, нет?! – взрывается Песоа. – Я хочу в лицо посмотреть тому храбрецу, который крыс тут поминает.

Парты приходят в движение: на несколько сантиметров отрываются от пола и падают, сначала вразнобой, потом все разом, а невидимый хор меж тем набирает силу:

– Крыса, крыса!

В дверях возникают лейтенант Гамбоа и учитель химии, человек хлипкий и робкий. Рядом с высоким, спортивным Гамбоа он в своей гражданской одежде, которая к тому же великовата, выглядит довольно ничтожно.

– В чем дело, Песоа?

Сержант отдает честь.

– Шутки шутят, господин лейтенант.

Ни единого шевеления. И абсолютная тишина.

– Ах, вот как, – говорит Гамбоа. – Идите во второй взвод, Песоа. Я займусь этими юношами.

Песоа снова отдает честь и уходит. Учитель химии следует за ним; он, кажется, побаивается стольких людей в форме разом.

– Вальяно, – шепчет Альберто, – уговор в силе.

Не глядя на него, Вальяно мотает головой и проводит пальцем по шее, изображая гильотину. Арроспиде раздал всем материалы экзамена. Кадеты склоняют головы над листками. «Пятнадцать да пять, да три, да пять, мимо, да три, мимо, черт, мимо, да три, нет, это сколько? Тридцать один, да что ж такое. Хоть бы он ушел, хоть бы его позвали, хоть бы что-нибудь случилось и ему пришлось уйти, Златоножка». Медленно, печатными буквами Альберто пишет ответы. Каблуки Гамбоа стучат по плитке. Если кадет поднимает глаза, он неизменно встречается с насмешливым взглядом лейтенанта и слышит:

– Подсказки ждете? И нечего на меня засматриваться. На меня смотрят только моя жена и моя прислуга.

Написав все, что знал, Альберто бросает взгляд на Вальяно: тот быстро строчит, прикусив губу. С превеликой осторожностью он окидывает взглядом класс. Некоторые делают вид, будто пишут, водя ручкой по воздуху в нескольких миллиметрах от поверхности бумаги. Он опять пробегает экзамен; наугад, положившись на интуицию, отвечает еще на два вопроса. Поднимается словно бы далекий, подземный гул: кадеты беспокойно ерзают на местах. Напряжение сгущается: что-то невидимое плывет над склоненными головами, тепловатая неосвязае-

мая масса, туманность, воздушная эманация, роса. Как хоть на пару мгновений обмануть бдительность лейтенанта, избавиться от его гнетущего присутствия?

Гамбоа посмеивается. Перестает шагать по классу, останавливается посередине. Он скрестил руки на груди. Под бежевой рубашкой проступают бицепсы, а взгляд охватывает всю введенную площадь разом, как во время полевых занятий, когда он мановением руки или резким свистком посылает свою роту месить грязь, ползти по камням, по траве: кадеты под его началом гордо посматривают на доведенных до отчаяния офицеров и кадетов других рот, которых неизменно окружают, берут в осаду, обращают в бегство. Когда Гамбоа в сверкающей на утреннем солнце каске простирает палец в сторону высокой кирпичной стены и произносит (безмятежно, невозмутимо перед лицом невидимого противника, занявшего ближайшие высоты и низины, и даже песчаную прибрежную полосу под утесами): «Взять ее, голуби!» – кадеты первой роты срываются с места, как болиды, – обнаженные штыки смотрят в небо, сердца полнятся безбрежной отвагой, – несутся через поля и огороды, не жалея посевов, – эх, вот бы вместо грядок под ногами были головы чилийцев или эквадорцев, эх, вот бы из-под ботинок брызгали струи крови, эх, вот бы пасть в бою! – потные, сыплющие ругательствами, добираются до стены, перекидывают винтовки за спины, тянут распухшие руки, цепляются ногтями за трещины, впечатываются в стену и ползут по отвесной поверхности, не отрывая глаз от приближающейся вершины, а потом спрыгивают, группируются в воздухе, падают и слышат лишь собственные проклятия и шум крови, пробивающей себе путь к свету через виски и грудные клетки. Но Гамбоа уже впереди, стоит на уступе скалы, на нем ни царапины, ловит носом морской ветер, ведет расчеты. Усевшись на корточки или растянувшись на траве, кадеты внимательно следят за ним: от того, что сорвется с его губ, зависят их жизнь и смерть. Вдруг его взгляд соскальзывает вниз и наливается яростью: голуби превращаются в личинок: «Разделиться! Сбились, как пауки!» Личинки поднимаются, рассредотачиваются, старая полевая форма, штопаная-перештопанная, пузырится на ветру, и заплатки с дырами похожи на струпья и раны, и они опять бросаются мордами в грязь, смешиваются с травой, но послушные, умоляющие глаза по-прежнему устремлены к Гамбоа, как в тот недобрый вечер, когда он убил Круг.

Круг возник, как только они стали кадетами, через двое суток после того, как сняли гражданское, вверили свои черепушки уравнительному действию бритвенных машинок, надели форму цвета хаки, тогда еще с иголки, и впервые построились на стадионе под пронзительный свист и громогласные команды офицеров. Был последний день лета, и небо Лимы, три месяца плававшее над пляжами синим пламенем, затянулось, впало в долгий серый сон. Они съехались из всех уголков Перу, не были знакомы между собой, а теперь составляли плотную массу, стоявшую перед бетонными корпусами, у которых неизвестно что помещалось внутри. Голос капитана Гарридо сообщал им, что гражданская жизнь для них на три года кончилась, что здесь из них сделают настоящих мужчин, что армейский дух имеет три простые составляющие: послушание, труд, доблесть. Но другое началось потом, после их первого обеда в училище, когда они на время оказались наконец свободны от опеки офицеров и высыпали из столовой вперемежку с четверокурсниками и пятикурсниками, на которых смотрели опасливо, но не без любопытства и даже приязни.

Раб один спускался по столовской лестнице к пустырю. Вдруг его руки словно сдавило клещами, а в ухо прошептали: «Пошли с нами, пес». Он улыбнулся и покорно пошел, куда звали. Многих ребят, с которыми он познакомился утром, так же хватали и вели через поросший травой участок к казармам четвертого курса. Занятий в тот день не было. Псы оставались в руках четвертого курса с обеда до ужина, восемь часов. Раб не помнит, в какой взвод и кто его затащил. Но в казарме стоял густой дым, повсюду мелькала форма, все ржали и орали. Переступив порог и не успев стереть с лица улыбку, он получил удар в спину. Упал, перекатился

на спину. Попытался подняться, не смог – на живот встали ногой. Десять равнодушных рож усталились на него, будто на насекомое, потолка за ними было не видно. Чей-то голос сказал:

– Для начала пропой-ка сто раз «я пес», как мексиканское корридо⁶.

У него не получилось. Он был слишком ошеломлен, глаза вылезли из орбит. Горло горело. Нога вдавилась в живот посильнее.

– Не хочет. Не хочет пес петь.

И тогда все рожи раскрыли рты и стали плевать в него, пока ему не пришлось закрыть глаза. Когда обстрел кончился, тот же безымянный, винтом вгрызающийся голос произнес:

– Пой сто раз «я пес» под корридо.

На этот раз получилось: он хрипло запел на мелодию «Там, на ранчо», что было непросто – лишенная оригинального текста, мелодия временами срывалась на визг. Но внимательным слушателям, кажется, нравилось.

– Хватит, – велел голос, – а теперь как болеро.

Потом он спел мамбо и креольский вальс. Потом ему приказали заткнуться.

Он встал на ноги и утерся ладонью. Отряхнул штаны сзади. Голос спросил:

– Разве кто-то разрешал морду вытирать? Никто не разрешал.

Рты вновь раскрылись, и он машинально зажмурился до конца атаки. Голос сказал:

– Перед тобой, пес, два кадета. Встань-ка смирно. Вот так. Они заключили пари, а ты у них будешь судьей.

Тот, что справа, ударил первым. Предплечье Рабу как огнем обожгло. Тот, что слева, нанес удар долей секунды позже.

– Ну, – сказал голос, – кто сильнее?

– Слева.

– Ах так? – раздался изменчивый голос. – Это что получается, я бить не умею? Попробуем еще раз, будь повнимательней.

Раб от удара пошатнулся, но не упал – руки окруживших его поддержали и вернули на место.

– А теперь? Кто сильнее бьет?

– Одинаково.

– То есть ничья, – рассудил голос. – Придется продолжать до перевеса.

Через минуту неутомимый голос поинтересовался:

– Кстати, пес. Руки болят?

– Нет.

Они и вправду не болели: он утратил ощущение собственного тела и времени. Его дух в упоении созерцал спокойную гладь моря в Этене, мама говорила: «Осторожнее со скатами, Рикардито» – и протягивала к нему ласковые руки. Солнце жарило вовсю.

– Вранье, – сказал голос, – если не болят, чего реवेशь, пес?

Он подумал: «Закончили, наверное». Но они только начали.

– Ты пес или человек? – спросил голос.

– Пес, господин кадет.

– Тогда почему на ногах стоишь? Псы на четвереньках ходят.

Он нагнулся, поставил ладони на пол. Предплечья отчаянно засадило. Он встретился глазами с другим мальчишкой, тоже стоящим на четвереньках.

– Так, – сказал голос, – когда псы на улице встречаются, что они делают? Отвечай, кадет. К тебе обращаюсь.

Раб получил пинок в зад и быстро ответил:

– Не знаю, господин кадет.

⁶ Народная баллада в Мексике и других странах Латинской Америки, в основном на злободневные или исторические темы.

– Дерутся, – пояснил голос. – Облаивают друг дружку и дерутся. Кусаются даже.

Раб не помнит лица того мальчика, который проходил крещение вместе с ним. Наверное, он был из одного из последних взводов – совсем маленький. Его всего перекосило от страха, и, как только голос умолк, он налетел на Раба, лая и пуская пену изо рта, и вдруг Раб почувствовал на плече укус бешеной собаки, и тогда его тело ответило, и он тоже залаял и начал кусать и чувствовал, что его кожа покрылась жесткой шерстью, лицо превратилось в остроконечную морду, а по бокам, словно кнутом, бьет хвост.

– Хватит, – сказал голос, – ты выиграл. А вот мелкий нас обманул. Он не пес, он сучка. А знаете, что происходит, когда кобель и сучка встречаются на улице?

– Нет, господин кадет, – ответил Раб.

– Лижутся. Обнюхиваются и лижутся.

Потом его вытащили из казармы и погнали на стадион, и он не мог вспомнить, было светло или уже стемнело. Там его раздели, и голос приказал плыть на спине по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Потом вернули в казармы четвертого курса, и там он застелил множество постелей, пел, танцевал, взобравшись на шкафчик, подражал киноартистам, начистил несколько пар ботинок, вылизал языком плитку на полу, совокуплялся с подушкой,пил мочу, но все это представляло лихорадочным бредом, и вот он уже в своем взводе, лежит на койке и думает: «Я точно сбегу отсюда. Прямо завтра». В казарме было тихо. Пацаны переглядывались и вели себя серьезно, церемонно – и не скажешь, что совсем недавно их били, на них плевали и мочились, раскрашивали им лица. В тот вечер после отбоя родился Круг.

Все лежали, но никто не спал. Горнист только что ушел со двора. Вдруг темная фигура прыгнула с койки, прошлепала через казарму и исчезла в уборной; створчатые двери еще долго раскачивались. Послышались звуки рвотных позывов, а потом на удивление громкой рвоты. Почти все повскакали и босиком кинулись в уборную: высокий тощий Вальяно стоял в центре желтоватой комнаты, прижимая руки к животу. Они не подошли, издали смотрели на искаженное спазмами черное лицо. Наконец Вальяно подошел к раковине и вытер рот. Тогда все в страшном возбуждении сбивчиво заговорили разом, понося четверокурсников последними словами.

– Так больше нельзя. Надо что-то делать, – сказал Арроспиде. Его белое лицо выделялось на фоне прочих – медных, угловатых. Сжатые кулаки дрожали от злости.

– Давайте позовем этого, как его, Ягуара, – предложил Кава.

Они впервые слышали эту кличку. «Кто это? Он из взвода?»

– Да, – сказал Кава. – Он лежит. Первая койка от толчка.

– А зачем Ягуар? – спросил Арроспиде. – Нас, что ли, мало?

– Нет, – сказал Кава, – дело не в этом. Он не такой, как все. Его не крестили. Я сам видел. Он им просто не дался. Его отвели на стадион вместе со мной, ну, туда, за казармы. И он скалился им прямо в рожи и говорил: «Крестить, значит, меня будете? Ну, ну, посмотрим». Прямо в рожи им смеялся. А их человек десять было.

– И чего? – спросил Арроспиде.

– Они, такие, удивились. Человек десять их было, говорю. Но только поначалу. На стадионе еще подошли, двадцать или больше, до хрена четвертых. А он все ржет и ржет: «Крестить меня удумали? Вот и отлично».

– И чего? – спросил Альберто.

– «Чо, страх потерял, пес?» – это они ему. И тогда он на них как набросился. И все смеется. А их человек десять или двадцать, а то и больше. И они не могли его ухватить. Некоторые сняли ремни и стегали, но так, издалека, а близко не подходили, я сам видел. И вот вам крест, они зассали, многие попадали, за яйца держась или с разбитой мордой. А он все смеялся и кричал: «Крестить меня, значит, удумали? Отлично, отлично!»

– А почему ты его зовешь Ягуаром? – спросил Арроспиде.

– Это не я. Это он сам так назвался. Они его окружили, а про меня забыли. И грозили ему ремнями, а он давай их поливать, и их, и мамок их, и вообще всех. А потом один говорит: «Этому безбашенному нужно Гамбарину привести». И позвали такого шкафа тупорылого, он сказал, он тяжелоатлет.

– А зачем позвали? – спросил Альберто.

– Ну так почему его называют Ягуаром-то? – спросил Арроспиде.

– Чтобы они подрались, – сказал Кава. – Они ему говорят: «Эй, пес, раз ты такой храбрый, вот тебе противник твоего веса». А он им отвечает: «Меня зовут Ягуар. Не зовите меня псом, а то поплатитесь».

– А они чего? Ржать? – спросил кто-то.

– Нет. Они освободили им место. Ржал он. Даже когда дрался, ржал.

– И чего? – спросил Арроспиде.

– Они недолго дрались, – сказал Кава, – и я понял, почему его называют Ягуаром. Он очень ловкий, прямо охрененно ловкий. Вроде не такой уж сильный, но вертлявый, как будто маслом обмазанный. У Гамбарины аж глаза повылазили, так он старался его ухватить, да все без толку. Он его и башкой, и ногами, и так и сяк – и ничего. И тогда Гамбарина говорит: «Хватит упражняться, устал я». Но мы все видели, что он с ног валится.

– И чего? – спросил Альберто.

– И ничего. Они его отпустили и занялись мной.

– Зови его, – сказал Арроспиде.

Они кружком сидели на корточках и курили. Один закуривал, затягивался и передавал другому. В уборной повис дым. Когда следом за Кавой вошел Ягуар, всем стало ясно, что Кава преувеличил: по скулам, подбородку и широкому бульдожьему носу было видно, что его били. Он стал посреди круга. Из-под длинных светлых ресниц смотрели необыкновенно голубые жесткие глаза. Рот кривился в деланой гримасе; нахальная поза и расчетливая медлительность, с которой он переводил взгляд с одного из собравшихся на другого, тоже были нарочитыми. Как и внезапный неприятный смех, прогремевший по всей комнате. Но никто его не прервал. Все замерли и ждали, пока он насмотрится и досмеется.

– Говорят, крещение идет целый месяц, – сказал Кава. – Нельзя каждый день терпеть такое.

Ягуар кивнул.

– Да, – сказал он, – нужно защищаться. Мы отомстим четвертым, они дорого заплатят за свои штучки. Главное – запоминать лица и по возможности взводы и фамилии. По одному больше не ходим. Собираемся вечерами, после отбоя. И надо придумать название.

– Ястребы? – робко предложил кто-то.

– Нет, – возразил Ягуар, – а то похоже на какую-то игру. Назовемся Круг.

Занятия начались на следующий день. На переменах четверокурсники набрасывались на псов и устраивали гусиные бега: десять-пятнадцать человек выстраивались в ряд, ставили руки на пояс, приседали на корточки и по команде пускались вперед с громким гаканьем. Проигравшие подвергались прямому углу. Кроме того, псов обыскивали и отбирали деньги и сигареты, а также заставляли залпом, держа стакан зубами, выпивать смесь оружейной смазки, постного масла и жидкого мыла. Круг заработал через два дня, после завтрака. Все три курса одновременно выходили из столовой и пятном расплзались по пустырю. Вдруг на непокрытые головы обрушился град камней, и один четверокурсник с криком повалился на землю. Уже построившись, они увидели, как товарищи на плечах тащат его в медпункт. Следующей ночью на дежурного-четверокурсника, спавшего в траве, напали тени в масках: на рассвете горнист обнаружил его голым, связанным, замерзшим до полусмерти и всего в синяках. В кого-то метали камни, кому-то устраивали темные. Самая смелая вылазка – на кухню, чтобы вылить несколько пакетов дерьма в котлы с супом, предназначавшиеся четвертому курсу, – многих

отправила в медпункт с коликами. Доведенные до ручки нападениями неизвестных, четверокурсники упорно и остервенело продолжали крещение. Круг собирался вечерами, обсуждал разные проекты, Ягуар выбирал один, совершенствовал его и давал указания. Все пребывали в таком возбуждении, что месяц без увольнительных пролетел мигом. К тревогам из-за крещения и операций Круга вскоре добавилась еще одна: предстояло первое увольнение, и им начали шить синюю форму. Офицеры ежедневно по часу разъясняли, как кадету в форме подобает вести себя в городе.

– На форму, – мечтательно говорил Вальяно, вращая глазами, – телочки, как на мед, слетаются.

«Было не так тяжело, как рассказывают, хотя тогда казалось тяжко, а уж когда Гамбоа зашел в толчок после отбоя – и вовсе особый случай, и все равно тот месяц нельзя сравнивать с воскресеньем, когда лишили увольнительной, нельзя». В такие воскресенья третий курс властвовал над училищем. В полдень показывали кино, а после обеда их навещали родные – псы прогуливались по плацу, пустырю, стадиону и дворам в окружении благоговейных посетителей. За неделю до первого увольнения они примерили выходную форму: синие брюки, черный китель с золотыми пуговицами, белая фуражка. Волосы отрастали быстро, под стать стремлению к свободе. «А как он прознал? Случайно или кто-то стукнул? А если бы Уарина в тот день дежурил или лейтенант Кобос? Да, по крайней мере, не так быстро, думаю я, не прознай он про Круг, наш взвод не превратился бы в клоаку, до сих пор процветали бы или, по крайней мере, ссучились бы не так быстро». Ягуар стоял посередине и описывал внешность одного четверокурсника, взводного. Остальные, как обычно, слушали, сидя на корточках; хабарики переходили из рук в руки. Дым воспарял к потолку, спускался обратно и плавал по комнате, словно полупрозрачный, изменчивого вида монстр. «Да что он сделал-то, Ягуар, нечего нам грех на душу брать», – говорил Вальяно, «Помстили и хватит», – говорил Ариосте, «Не нравится мне, что он и окриветь может от такого», – говорил Пальяста, «Сами напросились», – говорил Ягуар, «Ну и хорошо, что попортим его, да что он сделал-то, с чего все началось – дверь хлопнула, или он сразу заорал?» Видимо, лейтенант Гамбоа распахнул дверь обеими руками или ногой, и кадеты остолбенели, но не от удара об дверь и не от крика Арроспиде, а от того, что застоявшийся дым вдруг стал утекать сквозь темную брешь дверного проема, почти заполненного фигурой Гамбоа, придерживавшего створки. Дымящиеся хабарики полетели на пол. Все были босиком и не решались затушить. Смотрели прямо перед собой, старались напустить воинственный вид. Гамбоа затоптал окурки. Потом пересчитал кадетов.

– Тридцать два, – сказал он. – Весь взвод. Кто командир?

Арроспиде выступил вперед.

– Расскажите мне подробно про эту игру, – спокойно сказал Гамбоа. – С самого начала. И ничего не упускайте.

Арроспиде искоса поглядывал на товарищей, а лейтенант Гамбоа ждал, недвижимый, как дерево. «Что с того, что он ему плакался? В конце концов, мы все, считай, что его дети, потом и все начали плакаться, какой позор, господин лейтенант, вы не представляете, как они нас крестили, разве мужчины не должны защищаться? Какой позор, они нас били, господин лейтенант, издевались, обзывали, посмотрите, на что похожа задница Монтесиноса, это все от прямых углов, а он все молчит, какой позор, а он ничего не говорит, только так, что еще, конкретные факты, без лишних комментариев, по одному и не шумите, другие взводы перебудите, какой позор, а как же устав, и давай наизусть нам шпарить из устава, отчислить бы вас всех, но армия терпима и понимает щенков, которые пока не знают, что такое военная жизнь, уважение к старшим по званию и товарищеский дух, игре вашей конец, так точно, господин лейтенант, на первый раз прощается, донесение писать не буду, так точно, господин лейтенант, но первого увольнения вы лишаетесь, так точно, господин лейтенант, может, возмужаете малость, так точно, господин лейтенант, предупреждаю: еще раз такое повторится, и я до самого Совета

офицеров дойду, так точно, господин лейтенант, и устав затвердить наизусть, если хотите в следующую субботу выйти в город, а сейчас всем спать, а дежурным на посты, через пять минут доложить, так точно, господин лейтенант».

Больше Круг не собирался, хотя потом Ягуар так назвал свою шайку. В ту субботу, первого июня, весь взвод выстроился вдоль ржавой ограды и наблюдал, как псы из других взводов величественным потоком гордо выливаются на набережную, как она пестрит их чистенькой формой, белоснежными фуражками, надраенными кожаными ботинками, как они толпятся у изъеденного земляного вала, за которым рокошет море, на остановке автобуса Мирафлорес – Кальяо или прямо по шоссе спешат к Пальмовому проспекту и оттуда – к проспекту Прогресса (который пересекает поля и огороды и ведет в Лиму через Бренью, а в противоположном направлении пологим широким склоном сбегает к Бельявисте и Кальяо), как они теряются из виду, и когда на влажном от тумана асфальте никого не осталось, они все еще прижимались носами к прутьям. Потом протрубил горн к обеду, и они побрели к своей казарме прочь от героя, созерцавшего слепыми зрачками ликование ушедших и тоску оставшихся, исчезающих меж корпусов свинцового цвета.

В тот же день, когда они под томным взглядом викуньи выходили из столовой, во взводе случилась первая драка. «Я бы дался? Вальяно бы дался? Кава бы, Арроспиде, кто? Никто, только он, потому что Ягуар не бог, и тогда все было бы по-другому, если бы ответил, все по-другому, если бы стал драться, схватился за палку или камень, по-другому, даже если бы убежал, убегай, но не дрожи, вот уж этого никак нельзя». Они толпой спускались по лестнице, как вдруг случилось что-то непонятное и двое, пихая друг дружку ногами, полетели в траву. Там они встали; тридцать пар глаз уставились на них с лестницы, как с трибун. Никто не успел вмешаться, даже толком понять, что происходит, потому что Ягуар извернулся, как кот, и врезал противнику прямо по лицу, без предупреждения, а потом рухнул на него и принялся бить по голове, по лицу, по спине; остальные видели только молотившие поверженного кулаки и даже не слышали его криков: «Прости, Ягуар, я тебя случайно толкнул, клянусь, это случайно вышло». «На колени не надо ему было падать, вот что. И руки складывать, а то похоже было, как моя мамка молится или вот как пацаненок в церкви на первом причастии, а Ягуар будто епископ, и он ему исповедуется, как вспомню, – говорил Роспильози, – так мороз по коже». Ягуар стоял, презрительно смотрел на коленопреклоненного и все еще держал кулак на отлете, как будто готовился снова вклеить в иссиня-бледное лицо. Никто не шевелился. «Ты мне противен, – сказал Ягуар. – Достоинства в тебе нет. Одно слово – раб».

– Восемь тридцать, – говорит лейтенант Гамбоа. – Осталось десять минут.

В классе то тут, то там кто-то коротко фыркает, хлопают крышки парт. «Пойду покурю в уборной», – думает Альберто, подписывая работу. В эту минуту к нему на парту прилетает бумажный шарик, прокатывается несколько сантиметров и, натолкнувшись на его руку, останавливается. Прежде чем взять его, Альберто оглядывается вокруг. Потом поднимает глаза: лейтенант Гамбоа ему улыбается. «Заметил?» – проносится в голове у Альберто, он вновь опускает взгляд, и тут лейтенант говорит:

– Кадет, передайте мне, пожалуйста, то, что приземлилось сейчас к вам на парту. Остальные – тишина!

Альберто встает. Гамбоа берет бумажный шарик не глядя. Разворачивает и поднимает повыше, чтобы посмотреть на просвет. Читает, и глаза его, словно два кузнечика, скачут от бумажки к партам.

– Вы знаете, что здесь написано, кадет? – спрашивает Гамбоа.

– Никак нет, господин лейтенант.

– Формулы из ответов на вопросы экзамена. Интересно, правда? Вы знаете, кто сделал вам такой подарок?

– Никак нет, господин лейтенант.
– Ваш ангел-хранитель, – говорит Гамбоа. – Знаете, кто он?
– Никак нет, господин лейтенант.
– Сдайте мне экзамен и садитесь, – Гамбоа рвет листок и бросает белые клочья на стол. – У ангела-хранителя, – говорит он, – есть тридцать секунд, чтобы встать.
Кадеты переглядываются.
– Пятнадцать секунд прошло, – говорит Гамбоа. – Осталось пятнадцать.
– Это я, господин лейтенант, – отвечает нетвердый голос.
Альберто поворачивается: Раб встал на ноги. Он совсем побледнел и как будто не слышит смешков остальных.
– Имя, фамилия, – говорит Гамбоа.
– Рикардо Арана.
– Известно ли вам, что экзамены сдаются каждым кадетом самостоятельно?
– Так точно, господин лейтенант.
– Хорошо. Значит, вам, вероятно, известно также, что я вынужден лишить вас увольнения в эти выходные. Такова армия, тут ни с кем не споешься, даже с ангелами, – он смотрит на часы и добавляет: – Время истекло. Сдать работы.

III

Я учился в школе имени Саенса Пеньи и после уроков возвращался в Бельявисту пешком. Иногда перекидывался парой слов с Игерасом, приятелем моего брата, они дружили до того, как Перико забрали в армию. Он все спрашивал: «Что слышно от брата?» «Ничего, с тех пор, как в сельву отправили, так и не пишет». «Торопись, что ли? Постой, потолкуем». Я хотел поскорее вернуться в Бельявисту, но Игерас старше меня, и мне приятно было, что он говорит со мной, как с ровесником. Мы с ним шли в кабак, и он спрашивал: «Что будешь?» «Не знаю, все равно, то же, что и ты». «Ладно, – говорил Тоший Игерас. – Китаец, две маленьких!» И хлопал меня по плечу: «Смотри, не окосей». От писко⁷ у меня драло горло, а глаза слезились. Он говорил: «На, лимоном закуси. Так оно мягче идет. И покури». Мы говорили про футбол, про школу, про моего брата. Он мне много чего рассказал про Перико, которого я считал тихоней, а он, оказывается, был тот еще боевой петух, как-то раз подрался на ножичках из-за одной бабы. Да и вообще, кто бы мог подумать, бабник. Когда Игерас рассказал, что он обрюхатил одну девицу, и их чуть силой не поженили, я только что со стула не упал. «Да, у тебя племяш есть, года четыре ему. Ты, считай, старик, понимаешь?» Но я недолго с ним засиживался, скоро начинал искать предлог, чтобы улизнуть. Когда подходил к дому, очень волновался: если мать что унюхает, я со стыда сгорю. Я доставал учебники и говорил: «Пойду уроки поучу», а она даже не отвечала, только кивала, а иногда и не кивала даже. Дом по соседству был больше нашего, но тоже очень старый. Перед тем как постучать, я докрасна тер руки, но они все равно потели. Иногда открывала Тере. Тогда я приободрялся. Но почти всегда выходила ее тетка. Она дружила с моей матерью, но меня не любила, говорят, когда я был мелкий, все время ее доставал. Она меня впускала и буркала: «Занимайтесь в кухне, там света больше». Мы делали уроки, а тетка готовила, и по всей кухне пахло луком и чесноком. Тере все делала очень аккуратно, я даже восхищался, как у нее обернуты все тетрадки и учебники, а почерк маленький и ровный, и заголовки она подчеркивала двумя цветами. «Художницей будешь», – говорил я, чтобы ее рассмешить. Но она и так смеялась, стоило мне рот раскрыть, и ее смеха мне не забыть. Взаправду смеялась, всюю, еще и в ладоши хлопала. Иногда я встречал ее по дороге из школы, и сразу было ясно, что она не похожа на других девчонок – никогда не ходила

⁷ Крепкий алкогольный напиток на основе винограда.

растрепанной или с кляксами на руках. Больше всего мне в ней нравилось лицо. Ноги у нее были стройные, а грудь еще не выросла – или выросла, но я никогда не думал про ее ноги или про грудь, только про лицо. По ночам, если я терся в постели и вдруг вспоминал ее, мне становилось стыдно, и я шел пописать. Но зато мне все время хотелось ее поцеловать. Стоило закрыть глаза, я тут же видел ее и нас обоих, взрослыми и женатыми. Мы занимались каждый день, по два часа, иногда и дольше, и я всегда врал: «У меня куча уроков», чтобы нам подольше посидеть в кухне. Правда, я ей говорил: «Если ты устала, я пойду домой», но она никогда не уставала. В тот год я нахватал отличных оценок, учителя меня любили, ставили в пример, все время вызывали к доске, назначали старостой, а одноклассники дразнили зубрилой. Я с ними не очень дружил, так, разговаривал на уроках, но после школы сразу прощался. Кореш у меня был один – Игерас. Он всегда ошивался на углу площади Бельявиста и, завидев меня, тут же подходил. Я тогда думал только о том, чтобы скорее наступило пять часов, а воскресенья ненавидел. Потому что по субботам мы учились, а по воскресеньям Тере с теткой ездили в Лиму навестить родственников, а я целый день сидел дома или ходил в центр досуга Потао смотреть матчи второго дивизиона. Мать никогда не давала мне денег и вечно жаловалась, какая маленькая пенсия осталась от отца. «Нет ничего хуже, – говорила она, – чем тридцать лет прослужить государству. Потому что нет никого неблагодарнее государства». Пенсии хватало только на еду и счета за жилье. Я раньше бывал в кино с одноклассниками, но в том году ни разу не ходил даже на галерку, ни на футбол, вообще никуда. А вот в следующем году у меня стали водиться деньги, но я здорово скучал по тому, как мы с Тере каждый вечер учили уроки.

Лучше, чем с курицей и мелким из другого взвода, была заварушка в кино. Тихо, Недокормленная, потише зубами. Гораздо лучше. Это мы еще на четвертом были, и хотя уже год прошел с тех пор, как Гамбоа покончил с Кругом, Ягуар по-прежнему говорил: «Однажды все они хвосты подожмут, а мы вчетвером будем главными». Вышло даже лучше, чем раньше, потому что, когда мы ходили в псах, в Круге состоял взвод, а в тот раз получилось, как будто в Круге был весь курс, а командовали мы и больше всех – Ягуар. И когда тот пес сломал палец, заметно было, что весь взвод с нами, нас поддерживает. «На лестницу, пес, – говорил Кучерявый, – бегом, а то рассержусь». Как же он на нас смотрел! «Господа кадеты, у меня от высоты голова кружится». Ягуар корчился от смеха, а Кава обозлился: «Ты хоть знаешь, с кем шутики шутишь, пес?» Лучше бы он вправду не лез на лестницу, так он трясся. «Лезь, пацан, лезь», – сказал Кучерявый. «А теперь пой, – сказал Ягуар, – только красиво, как артист, и руками маши». Он вцепился в лестницу, будто обезьяна, а та так и ходила ходуном по полу. «А если я упаду, господа кадеты?» – «Ну и упадешь», – сказал я. Он, дрожа, распрямился и запел. «Сейчас шею свернет», – говорил Кава, а Ягуар заходился со смеху. Не так уж сильно он упал, я на полевых с большей высоты падал. И чего только за раковину схватился? «Вроде палец сломал», – сказал Ягуар, когда из руки кровь полилась. «Все оштрафованы на месяц, – говорил капитан, – а если не найдутся виновные – и дольше». Во взводе все вели себя паиньками, а Ягуар им говорил: «Чего же вы не хотите опять в Круг, если такие крутые?» Псы нам попались очень робкие, вот что плохо. Куда лучше крещения были драки с пятыми, в жизни не забуду тот год, особенно кино. Началось все с Ягуара, а я сидел рядом, так чуть хребет не переломили. Псам повезло, мы их в тот раз почти не трогали, слишком заняты были с пятыми. Месть – штука сладкая, никогда мне так хорошо не было, как когда на стадионе передо мной оказался тот говнюк, который меня крестил. Нас чуть не исключили, но оно того стоило, честное слово. Третий с четвертым – это так, цветочки; настоящая война – у четвертого с пятым. Кто ж забудет, как они нас крестили? А в кино нас посадили между пятыми и псами нарочно, чтобы заварушка началась. С пилотками – это Ягуар придумал. Если подходит пятый, я подношу руку к голове, как будто сейчас честь отдам, он мне честь отдает, а я снимаю пилотку. «Это что еще такое?» «Это я, господин кадет, затылок чешу, перхоть мучает». Шла война,

ясно было как день – по тому случаю с канатом, и еще раньше, в кино. Такая жара в зале стояла, хоть и зима, – оно и понятно: цинковая крыша, больше тысячи человек набилось, да мы там изжарились. Я не видел его лица, когда мы вошли, только голос слышал – и зуб даю, он был индеец, с гор. «Тесновата жердочка для моей жопы», – говорил Ягуар, он сидел с краю, а Поэт брал с кого-то плату: «Ты думал, я бесплатно работаю, за твои красивые глаза?», свет уже погасили, и на Поэта шикали: «Заткнись, а то влетит». Вряд ли Ягуар нарочно подложил кирпичи, чтобы ему обзор закрыть, – просто сам хотел лучше видеть. Я нагнулся и зажигал спичку, а когда пятый начал возмущаться, сигарета у меня выпала, я сполз под скамейку, а тут и все зашевелились. «Эй, кадет, кирпичи убери с сиденья, фильм хочется посмотреть». «Это вы мне?» – спросил я. «Нет, ему». «Мне?» – спросил Ягуар. «Кому ж еще?» «Сделайте одолжение, – сказал Ягуар, – заткнитесь и дайте мне спокойно посмотреть на ковбоев». «Не убереешь кирпичи?» «Думаю, нет», – сказал Ягуар. Тогда я сел обратно, плюнул на сигарету, кто ее там найдет. Тут жареным пахнет, лучше быть готовым. «Не слушаешься, значит?» – спросил пятый. «Нет, – сказал Ягуар, – с чего бы?» От души над ним прикалывался. Поэт затыкнул: «Ох, ох, ох», а за ним и весь взвод. «Совсем страх потерял?» – спросил пятый. «Кажется, да, господин кадет», – сказал Ягуар. Махач в потемках, о таком песни сложат, махач в потемках в актовом зале, виданное ли дело? Ягуар говорит, что ударил первым, но я-то помню. Первым ударил пятый. Или какой-то его дружок пришел на выручку. И еще злобно так. Попер на Ягуара, как бешеный, а уж крик поднялся – у меня аж барабанные перепонки заболели. Все повскакали, надо мной какие-то тени, кто-то меня пинал. Фильм вообще не помню, он только начался. А Поэта, интересно, вправду месили или он понарошку орал? И еще слышно было, как вопит лейтенант Уарина: «Свет, сержант, свет! Оглохли вы, что ли?» И псы тоже давай вопить: «Свет, свет!», они не врубались, что происходит; я боялся, сейчас на нас оба курса набросятся под шумок-то. Весь пол засыпали сигаретами, каждый хотел от них избавиться – еще не хватало, чтобы за куревом застучали, чудом пожара не случилось. Вот это драка была, люди! Ни одного неподбитого не осталось, взяли мы реванш. Не знаю, блин, как Ягуар выжил. Тени все на меня наваливались и наваливались, у меня уже руки и ноги заболели, так я отбивался – наверняка и кого-то из четвертых приложил, кто там разберет в этой темнотище. «Включите уже долбаный свет, сержант Варуа! – орал Уарина. – Они же друг друга поубивают, скоты!» Отовсюду сыпалось, что правда, то правда, хорошо еще, никого не попортили. Свет зажгли, засвистели, как полоумные. Уарины было не видать, а лейтенанты пятого и третьего и сержанты все оказались на месте. «Разойтись, чтоб вас, разойтись!» – никто и не думал расходиться. Ну, тогда они тоже разъярились и давай колошматить всех подряд, никогда не забуду, как Крыса мне навалил прямым в грудь, я аж задохнулся. Я все искал его глазами, думал, если его покалечили, заплатите, уроды, но вот он, бодрее всех, обеими работает, а сам ржет, жизнью у него больше, чем у кошки. А потом все – рот на замок, это мы умеем, если надо лейтенантов с сержантами побесить, ничего не случилось, все друзья, я вообще ни слова не слышал, и пятые – так же, надо отдать им должное. Потом вывели псов, которые так ничего и не поняли, потом – пятых. Мы одни остались в актовом зале и затыкнули: «Ох, ох, ох». «Я ему в глотку запищал эти кирпичи», – сказал Ягуар. И все заладили: «Пятые злятся, мы их выставили на посмешище перед псами, ночью точно явятся к нам в казармы». Офицеры шныряли вокруг, как мыши, и гундели: «Кто все начал?», «Отвечайте, а то на гауптвахту». Мы их даже не слушали. Они придут, они придут, нельзя, чтобы они застали нас в казармах, выйдем им навстречу, на пустырь. Ягуар стоял у шкафчика, и все его слушали, как когда были псами, и Круг собирался в уборной строить планы мести. Надо защищаться, береженого бог бережет, дежурные пусть идут на плац и смотрят в оба. Как только те появятся, кричите, чтобы мы вышли. Готовьте снаряды, отмотайте туалетной бумаги, сверните и зажмите в кулак, если так бьешь – это будто осел лягает, на носки ботинок приладьте бритвенные лезвия, как шпоры у боевых петухов, в карманы камней наложите, и ракушки не забудьте смастерить, мужчина должен беречь яйца

пуще души. Все слушались, а Кучерявый от радости прыгал по койкам, это все равно что Круг, только теперь весь курс замешан, в других казармах тоже готовятся к великой битве. «Блин, камней не хватит, – говорил Поэт, – надо плиток из пола наковырять». И все угощали друг друга сигаретами и обнимались. Легли в форме, некоторые даже в ботинках. Что, идут, идут? Тихо, Недокормленная, не кусайся, зараза ты этакая. Даже собака нервничала, лаяла, скакала, а обычно она такая спокойная, придется тебе, Недокормленная, идти спать к викунье сегодня, мне надо этих охранять, чтобы пятые нас не порвали.

Дом на углу улиц Диего Ферре и Очаран обнесен белой стеной, где-то метр в высоту и по десять в длину в обе стороны от угла. Там, где улицы сходятся, на краю тротуара стоит электрический столб. Пространство между стеной и столбом считалось воротами той команды, которая выигрывала по жребии; проигравшая сама делала себе ворота в пятидесяти метрах по улице Очаран, обозначая камнями или кучей курток и свитеров. Ворота занимали только тротуар, но полем служила вся улица. Играли в футбол. В баскетбольных кроссовках, как на поле в клубе «Террасас», и мяч старались не надувать туго, чтобы не слишком отскакивал. Играли обычно понизу, пасы передавали короткие, по воротам били несильно и не издалека. Поле расчерчивали мелом, но через пару минут после начала матча линии от постоянного соприкосновения с кроссовками и мячом стирались, что порождало горячие споры о законности того или иного гола. Матчи проходили в атмосфере осторожности и опасений. Иногда, несмотря на все ухищрения, не удавалось избежать неприятностей: Плуту или кто-нибудь другой в порыве эйфории влеплял ногой или головой так, что мяч перелетал через ограду чьего-то дома, падал в сад, сминал герань, а если удар был сокрушительный, то с грохотом врезался в дверь или в окно, и в самом пиковом случае разбивал стекло вдребезги. Тогда игроки прощались с мячом и, громко вопя, спасались бегством. Они неслись по улице, а Плуту на бегу кричал: «Погоня! За нами гонятся!» И никто не оборачивался проверить, гонятся ли в самом деле, но все припускали быстрее и повторяли: «Бежим! За нами гонятся, полицию вызвали!» – и в эту минуту Альберто, бежавший во главе, задыхаясь от напряжения, выкрикивал: «К спуску! Все к спуску!» И все устремлялись за ним и тоже вопили: «К спуску, к спуску!» – и он слышал громкое дыхание товарищей: жадное, животное – у Плуту, короткое, размеренное – у Тико, удаляющееся – у Бебе, потому что тот быстро отставал, спокойное, как и положено атлету, который трезво рассчитывает усилие, вдыхает правильно, носом, а выдыхает ртом, – у Эмилио, рядом с ним – дыхание Пако, Племяша, всех остальных, глухой, полный жизни шум – он окутывал Альберто и придавал сил быстрее и быстрее лететь по Диего Ферре до угла Колумба и свернуть направо, у самой кромки стены, чтобы выиграть на повороте время. А дальше было легче, потому что улица Колумба идет под уклон и, когда выбежишь на нее, совсем близко оказывается кирпичный парапет набережной, а над ним сливается с горизонтом серое море – скоро они доберутся до берега. Местные ребята смеялись над Альберто: всякий раз, как они, растянувшись на прямоугольном газончике у Плуту, строили планы, он первым делом предлагал: «А пойдемте к морю спустимся». Спуск всегда получался долгим и трудным. Они перепрыгивали кирпичный парапет у улицы Колумба и на маленькой грунтовой площадке обсуждали тактику, цепкими опытными глазами изучали крутой зубчатый утес, выбирали путь, подмечали сверху препятствия, отделявшие их от каменистого берега. Альберто увлеченнее всех разрабатывал маршрут. Не отрывая взгляда от бездны, он отрывисто давал указания, подражая жестам киногероев: «Вон та скала, где перья торчат, – надежная, оттуда прыгнуть всего на метр, видите, потом по черным камням, они гладкие, так будет легче, с другой стороны мох, поскользнемся, а таким путем попадем вон на тот пляжик, мы там раньше не были. Усекли?» Если кто-то возражал (например, Эмилио, обладавший задатками лидера), Альберто горячо отстаивал свои доводы; компания делилась на две партии. Жаркие споры оживляли сырое утро в Мирафлоресе. За спинами мальчишек нескончаемой рекой текли по набережной машины,

иногда кто-то высовывался из окошка и вглядывался в их сборище; если это тоже был мальчишка, глаза его вспыхивали завистью. Точка зрения Альберто обычно побеждала, потому что спорил он с искренним убеждением, утомлявшим остальных. Спускались очень медленно, напрочь позабыв о разногласиях, воцарялась атмосфера абсолютного братства, она проскальзывала во взглядах, в улыбках, в ободряющих возгласах, на которые никто не скупился. Когда кто-то преодолевал препятствие или удачно приземлялся после опасного прыжка, остальные аплодировали. Время текло напряженно, еле-еле. По мере приближения к цели они смелели, совсем близко раздавался звук, ночами долетавший гулом до их постелей, а теперь превратившийся в оглушительный рев воды и камней, в нос бил запах соли и чистых-пречистых ракушек, и вот они уже на пляже, крохотном веере между утесом и океаном, сбились в кучку, хохочут, потешаются над трудностями спуска, в шутку толкаются, в общем, веселятся вовсю. Если выдавалось не слишком холодное утро или один из тех дней, когда на пепельном небе проступало робкое солнце, Альберто снимал ботинки и носки, закатывал брюки до колен, входил в холодную воду, чувствовал ступнями отполированную поверхность гальки и, придерживая брюки одной рукой, второй забрызгивал приятелей, которые сначала прятались друг за дружкой, а потом тоже разувались, обрызгивали его, и начиналась битва. Промокнув до костей, они снова собирались кружком, ложились на камни и начинали обдумывать подъем. Он оказывался не легче спуска, отнимал последние силы. Вернувшись, валялись в садике у Плуты и курили «Вайсрой», купленные в лавке на углу вместе с мятными пастилками для маскировки.

Если не играли в футбол, не спускались на берег, не устраивали велосипедные гонки по кварталу – ходили в кино. По субботам – гурьбой на дневные сеансы в «Эксельсиор» или в «Рикардо Пальму», обычно на галерку. Садились в первом ряду, горлопанили, швырялись горящими спичками в партер и во весь голос обсуждали перипетии картины. По воскресеньям все было по-другому. С утра им полагалось идти к мессе в школу Шампанья, тут же, в Мирафлоресе, – только Эмилио и Альберто учились в самой Лиме. Собирались обычно в десять утра в Центральном парке, одетые в школьную форму. Оккупировали скамейку и глазели на людей, входивших в церковь, или ввязывались в словесные баталии с мальчишками из других кварталов. Днем шли в кино, на сей раз в партер – нарядные, причесанные, слегка придушенные жесткими воротничками рубашек и галстуками, навязанными родительской волей. Некоторые сопровождали сестер; прочие следовали за ними по проспекту Ларко на некотором расстоянии и дразнили нянками и гомиками. Девочки квартала, которых было не меньше, чем мальчишек, тоже держались тесной компанией, не на жизнь, а на смерть враждовавшей с последними. Велась неустанная борьба полов. Стоило мальчишкам завидеть девочку, идущую по улице в одиночестве, как они подбегали и дергали ее за косички, пока не расплатится, под громогласные возражения ее брата: «Она же папаше нажалуется, а мне влетит, что я ее не защитил». И наоборот – если один из них появлялся на улице без приятелей, девчонки высовывали языки и обзывались по-всякому, и приходилось терпеть унижения, краснея от стыда, но не меняя шага, – только трусы убегают от женщин.

Но они не пришли, ясен хрен, офицеры всё дело им загубили. Мы думали, это они, и повскакали с коек, но дежурные на нас зашикали: «Тихо, это солдаты». Их, сплошь индейцев, подняли посреди ночи и поставили на плацу, вооруженных до зубов, как будто на войну собрались, а с ними и лейтенанты, и сержанты, явно чуяли, что надвигается. Они хотели – потому мы узнали, что они весь вечер готовились, даже, говорят, пращи у них были и чуть ли не «коктейли Молотова». Как мы тех солдат материли, они со злости лопались, штыками всё в нашу сторону грозились. Он то дежурство не забудет, говорят, полковник ему чуть не врезал, может, и врезал, «Уарина, вы болван», мы его опозорили перед министром, перед послами, будто бы он даже плакал. На том бы все и кончилось, если бы не праздник этот назавтра, ну, молодец, полковник, что мы, обезьяны ему, что ли, чтобы нас выставять, как в цирке, строе-

вые приемы с оружием перед архиепископом и дружеский обед, гимнастика и прыжки перед генералами и министрами и дружеский обед, парад в парадной форме и речи и дружеский обед перед послами, молодец, ничего не скажешь. Все знали – что-то будет, в воздухе витало, Ягуар говорил: «На стадионе мы должны все испытания у них выиграть, ни одного проиграть не можем, и всухую чтобы, и в мешках, и кросс, и вообще все подряд». Но почти ничего и не было, скандал случился на перетягивании каната, у меня до сих пор руки болят, так я тянул, и все орал: «Давай, Удав!», «Поднажми, Удав!», «Сильнее, сильнее!», «Тяни, тяни!». Утром, еще до завтрака, подходили к нам с Уриосте и Ягуаром и говорили: «Тяните изо всех сил, хоть сдохните, но не отступайтесь, ради взвода». Один Уарина ничего не подозревал, слизняк. А у Крысы, у того, наоборот, чуйка четко сработала: «И смотрите у меня, без глупостей перед полковником, не вздумайте со мной шутки шутить, я только с виду шуплый, а так медали по дзюдо уже устал считать». Тихо, собака ты мерзкая, убери зубы, Недокормленная. Народу собралась тьма, солдаты стулья из столовой притащили, или это в другой раз было, но, в общем, до хрена народу, генерала Мендосу и не разглядишь, столько народу по форме. Наверное, у кого медалей больше всего повешено, тот и генерал, а уж как про микрофон вспомню, смех разбирает, это ж надо, чтоб так не повезло, как же мы ржали, ох, обоссусь со смеху, надо бы потише, а то, если Гамбоа дежурит, огребу, но все равно, как вспомню про микрофон, так не могу, помираю. Кто бы мог подумать, что все так серьезно будет, но пятые прямо нас глазами жгли и пасти раскрывали, как будто нас посылали. Ну и мы тоже начали их посылать, тихонько, тихонько, Недокормленная. Готовы, кадеты? Начинаем по свистку. «Строевые приемы самостоятельно, – гудел микрофон, – повороты на месте и в движении, прямо, строевым шагом – марш!» А теперь гимнасты на брусках, надеюсь, вы хоть помылись как следует, поросята. Раз, два, три, трусцой, и честь отдать не забудьте. Этот мелкий здорово на перекладине работает, мышц вообще нет, но ловкий. Полковника тоже было не видеть, ну и черт с ним, я его в лицо помню, за каким лядом на такую щетину столько бриолина лить, и про боевую статью не надо мне заливать, стоит только взглянуть на полковника – этот, если ремень расстегнет, так у него брюхо до полу расплещется, и какую же он рожу соорудил, как вспомню – на хи-хи пробивает. Он, видимо, только и любит, что представления да парады, посмотрите, как мои парни ровнехонько маршируют, та-дам, та-дам, начинается цирк, а теперь мои дрессированные собачки, блохи, слоники-эквилибристки, та-дам, та-дам. С его-то голосом я бы дымил не переставая, может, похриплее бы стал, а то не командный голос. На полевых я его никогда не видал, мне его и не вообразить в окопе-то, а вот представления – это пожалуйста, третий ряд кривоват, кадеты, офицеры, обратите внимание, не хватает слаженности в движениях, военного духа и осанки, лох ты конченный, хотел бы я тебя видеть, когда приключилась эта штука с канатом. Говорят, министр весь вспотел и сказал полковнику: «Эти ваши говнюки с ума посходили, что ли?» Мы как раз сидели друг против друга, четвертый и пятый, а между нами футбольное поле. Они бесились, аж извивались на сиденьях, как змеи, а сбоку – псы, они ни во что не врубались, обождите, сейчас увидите, как дела делаются. Уарина маячил рядом и все спрашивал: «Как думаете, сдюжите?» – «Можете меня на год увольнений лишить, если не сдюжим», – сказал Ягуар. А я вот не был так уверен, у них те еще лбы, Гамбарина, Зубоскал, Баран, натуральные слоны. Руки у меня болели и после драки, и так, от нервов. «Ягуара первым поставьте», – кричали с рядов, а еще: «Удав, на тебя вся надежда». Взвод завел свои «ох, ох, ох», и Уарина посмеивался, пока не понял, что это они так пятых подкалывают, и не схватился за голову: «Вы что, полудурки, тут же генерал Мендоса, посол, полковник, вы что делаете?!» Совсем плохой стал с испугу. Еще было смешно, когда полковник сказал: «Помните, в перетягивании каната роль играют не только мышцы, но еще и ум, и находчивость, и совместная стратегия. Не так-то просто добиться слаженного усилия», вот это загнул. Парни так нам хлопали – я никогда такого не слышал, у любого сердце бы дрогнуло. Пятые уже вышли на поле в своих черных олимпийках, и им тоже хлопали. Лейтенант чертил линию, а на трибунах так орал, что, каза-

лось, уже перетягиваем всюду: «Четвертый, четвертый!», «Нравится – не нравится, четвертый с вами справится!», «Хотите не хотите, а четвертый не победите!». «А ты чего глотку дерешь? – сказал мне Ягуар. – Силы только зря тратишь», но было так здорово: «Мы кнутом их слева, мы кнутом их справа, слева-справа, слева-справа, весь четвертый курс – красавица!» «Так, – сказал Уарина, – пошли. Ведите себя прилично и не посрамите имя курса, парни», – не представлял бедняга, что его ждет. Побежали, парни, впереди Ягуар, жми, жми, Уриосте, жми, жми, Удав, давай, давай, Рохас, дави, дави, Торрес, жги, жги, Риофрио, Пальяста, Пестана, Куэвас, Сапата, жми, жми, умрем, но ни миллиметра не уступим. Бегите молча, трибуны совсем рядом, может, и генерала Мендосу углядим, не забудьте поднять руки, когда Торрес скажет «три». Даже больше народу, чем сперва казалось, а сколько военных, наверное, помощники министра, а послы вроде славные, так хлопают нам, хоть мы еще даже не начали. Так, теперь повернули, у лейтенанта канат уже готов, господи боженька, хоть бы он узлы на нем хорошо завязал, а пятые все рожи свирепые строят, ох, ох, прямо дрожу от страха, напугали, стоп. «Слева-справа, жми, красавица». И тут Гамбарина подошел поближе и, положив с прибором на лейтенанта, который разматывал канат и считал узлы, сказал: «Выживаться, значит, вздумали. Смотрите, как бы вам без яиц не остаться». – «А твоя мама без чего останется?» – ответил Ягуар. «Мы с тобой потом потолкуем», – сказал Гамбарина. «Отставить шуточки, – сказал лейтенант. – Капитаны команд, подойдите сюда, построились, тянуть начинаем по свистку, как только кто-то перейдет за линию противника, даю свисток – отбой. Побеждает тот, у кого перевес в два очка. И ничего не оспаривать – я человек справедливый». Калистеника, калистеника, прыжки с закрытым ртом, черт, а трибуны-то вопят: «Удав! Удав!», – больше, чем «Ягуар!», или я уже с ума схожу, чего он не свистит-то? «Приготовились, ребята, – сказал Ягуар, – тянем до победного». Тут Гамбарина отпустил канат и показал нам кулак, значит, нервничают, если ручками играют, куда уж им победить. А меня больше всего вдохновляли наши парни, прямо в мозг проникали их голоса, прямо в руки, силы прибавлялось, братья, раз, два, три, господи, боженька, матушки, четыре, пять, не канат, а змея какая-то, так и знал, что узлы недостаточно выпуклые, руки, пять, шесть, скользят, семь, черт, неужели не перевешиваем, глянул на грудь – ни фиги себе, вот так мужики и потеют, девять, жми, жми, еще секундочку, ребята, тянем, тянем, свисток, убейте меня. Пятые завизжали: «Нечестно, господин лейтенант!», «Не заступили мы за линию, господин лейтенант!», слева-справа, четвертые повскакали и давай пилотки подбрасывать, целое море пилотов, кричат «Удав!»? поют, плачут, вопят, да здравствует Перу, друзья, долой пятых, да харе уже морды свирепые делать, я-то ведь загнусь со смеху, слева-справа, слева-справа. «Хватит ныть, – сказал лейтенант, – очко в пользу четвертого курса. Приготовиться ко второму раунду». Эх, ребята, какие же у нас болельщики, я тебя прям вижу, индеец Кава, Кучерявый, орите, орите, это мне как разминка, пот как из лейки льет, не увильвай, змея, спокойно, и не кусайся, Недокормленная. Хуже всего, что ноги на траве оскальзываются, будто на роликах тянешь, как бы не сломать себе чего, вены на шее вздулись, кто там ослабляет, не пригибайся, да кто ж этот предатель, кто отпускает, держите змеюку, подумайте о чести курса, четыре, три, тянем, что там трибуны, черт, Ягуар, сравняли. Но им тяжелее далось, на колени попадали, на траве растянулись, руки раскинули, запыхались, как кони, и потеют. «Один-один, – сказал лейтенант, – и поменьше выпендривайтесь, не бабы». И тогда они начали нас поливать, чтобы мы пали духом. «Как только тут закончим, перебьем вас всех», «Богом клянусь, искалечим уродов», «Заткните пасти, или прямо сейчас огребете». «Совсем границ не видите, олухи, – говорил лейтенант, – вас же на трибунах слышно. Ответите». Ноль внимания, твою маму, слева-справа, и твою тоже, красавица. На этот раз все вышло быстрее и веселее, все зарычали откуда-то из самого нутра, загривки набухли, вены побагровели. «Чет-вер-тый, чет-вер-тый, свистим, фью-ю-ю-ю-ю, бум, четвертый!», «Нравится – не нравится, четвертый с вами справится!», всего один рывок, и глотайте, сволочи, пыль поражения. Ягуар сказал: «Они на нас наваяются, не посмотрят, гады, что на трибунах полно генералов. Махач века намеча-

ется. Видали, как на меня Гамбарина вылупился?» Трибуны так друг дружку обсирали, что матерщина аж плавала над полем, вдалеке мельтешил Уарина, полковник с министром все слышат, командиры взводов, взять по четыре, пять, десять человек со взвода и оштрафовать на неделю, нет, на две. Тяните, парни, последнее усилие, посмотрим, кто тут настоящие мужики, леонсиопрадовцы с бычьими яйцами. Мы тянули, и тут я увидел пятно, большое бурое пятно с красными краями, оно спускалось по трибунам со стороны пятого и из пятнышка превращалось в пятнище, «Пятые идут! – закричал Ягуар, – защищаемся, ребята!», Гамбарина выпустил змею, а остальные повалились кучей и заступили за линию, мы выиграли, закричал я, а Ягуар с Гамбариной уже сцепились на траве, а Уриосте с Сапатой проперли мимо меня с высунутыми языками и давай раздавать тумачи пятым, пятно росло и росло, и Пальяста сорвал с себя олимпийку и замахал нашим трибунам, давайте к нам, нас тут месят, лейтенант пытался разнять Ягуара и Гамбарину, а у него за спиной уже куча мала, сволочи, полковник же смотрит, и начало спускаться еще одно пятно, наши идут, весь четвертый курс стал Кругом, где же ты, индеец Кава, брат Кучерявый, будем драться бок о бок, все хвосты прижали, а мы теперь главные. И вдруг отовсюду голосок полковника, офицеры, офицеры, прекратить скандал, какой позор для училища, и в эту секунду морда того типа, который меня крестил, зыркает своей багровой харей на меня, обожди-ка, голубчик, за тобой должок водится, эх, видел бы меня мой брат, уж как индейцев ненавидел, пасть раскрыта, а видно, что сам ссыт, индеец же, и тут посыпались удары, офицеры поснимали ремни и начали хлестать, даже приглашенные, из тех, что на трибунах сидели, это ж надо наглость иметь, даже не из училища, а туда же, мне, по-моему, пряжкой заехали, шрам во всю спину. «Это заговор, господин генерал, но заговорщикам не будет пощады», «Какой в жопу заговор, сделайте что-нибудь, чтобы эти говнюки перестали драться», «Господин полковник, кнопку нажмите, у вас микрофон включен», свист, удары, столько лейтенантов, а в суматохе и не разглядишь, ремнем по спине – похоже на ожог, а Ягуар с Гамбариной, как два осьминога, свились на траве. Но нам повезло, Недокормленная, убери зубы, паршивка. Когда нас построили, у меня все тело горело, и такая усталость навалилась – хоть ложись тут же на футбольном поле. И все помалкивали, прямо невероятно, какая тишина стояла, все старались отдышаться, про увольнение никто, наверное, и не думал, не до того, только и мечтали добраться до коек и завалиться спать. Вот теперь нам точно каюк, министр нас оштрафует до конца курса, смешнее всего было смотреть на псов, вы же ничего не сделали, так чего пересрались? валите домой и не забывайте о том, что видели, а лейтенанты и вовсе со страху обделались, Уарина, ты аж пожелтел, в зеркало посмотри, сам себе жалок станешь, а Кучерявый рядом со мной сказал: «Генерал Мендоса – это тот пузан, рядом с бабой в голубом? Я думал, он из пехоты, а у него, у подлеца, погоны красные, значит, артиллеристом был». Полковник только что не жевал микрофон, не знал, с чего начать, взывал: «Кадеты!» и замолкал, и опять: «Кадеты!», и голос у него срывался, и тут меня на смех пробрало, сучка ты этакая, и все молчат и стоят смирно, только трясутся. Что же он сказал, Недокормленная? Ну, кроме «кадеты, кадеты, кадеты», мы в своем кругу исчерпаем инцидент, хотелось бы только попросить у вас прощения от имени нас всех, и от офицеров, и лично от меня, приносим наши самые искренние извинения, а той тетке хлопали минут пять, не меньше, она вроде даже заплакала, так растрогалась нашим аплодисментам, мы и вправду все руки себе отбили, и начала слать всем воздушные поцелуи, жаль, что она так далеко стояла, не понять, красивая или уродина, молодая или старая. У тебя вот не пошли мурашки, Недокормленная, когда он сказал: «Третьему курсу надеть обмундирование, четвертому и пятому – оставаться на месте»? А знаешь, собаченька, почему никто с места не сдвинулся – ни офицеры, ни взводные, ни гости, ни псы? Потому что есть на свете дьявол. И тут она вскочила с места: «Полковник!», «Ваше превосходительство!», все заерзали, да что происходит-то, «Я вас прошу, полковник», «Госпожа посол, у меня просто слов нет», «Вырубите микрофон», «Ну, я вас умоляю», и сколько это продолжалось, Недокормленная? Никто не считал, все глазели на толстяка-полковника, на микрофон

и на тетку, они говорили одновременно, и по ее говору мы поняли, что она американка, «Ну, ради меня, полковник!», воздух на поле чуть ли не звенел, и все по стойке смирно. «Кадеты, кадеты, забудем этот позор, такое больше не повторится, госпожа посол в своей безграничной доброте», говорят, Гамбоа потом сказал: «Стыд и срам, что у нас, школа благородных девиц? Бабы нам приказы дают», скажите спасибо ее превосходительству, интересно, кто придумал наши фирменные аплодисменты, разгоняются медленно, как паровоз, бум, раз два три четыре пять, бум, раз два три четыре, бум, раз два три, бум, раз два, бум, раз, бум, бум, бум-м-м, и снова, а потом, бум-бум-бум, и снова, а те, из школы Гуадалупе, волосы на себе рвали, так их достали наши болельщики, когда мы с ними соревновались по легкой атлетике, а наши бум-бум-бум, этой послице тоже было не грех спеть «слева-справа», даже псы захлопали, и сержанты, и лейтенанты, не останавливаемся, продолжаем, бум-бум-бум, и на полковника преданно смотрим, послица и министр отчаливают, и он снова рожу кривит, собирается, наверно, сказать, очумели совсем, да я вами полы вытирать буду, но нет, заржал, и генерал Мендоса, и послы, и офицеры, и гости, бум-бум-бум, какие же мы все хорошие, батюшки, матушки, бум-бум-бум, все на сто процентов леонсиопрадовцы, да здравствует Перу, кадеты, в один прекрасный день родина позовет, и мы придем, мысли парят высоко, как стяг, сердца крепки. «Куда этот Гамбарина запропастился, я его в губы расцелую, – говорил Ягуар. – Если жив остался после того, как я его об землю приложил», тетка рыдает от того, как мы хлопаем, Недокормленная, жизнь в училище – не сахар, а сплошное самопожертвование, но и в ней случаются приятные моменты, жаль, что Круг уже не тот, что прежде, у меня прямо сердце в груди ширилось, когда мы втрнадцатером собирались в толчке, но дьявол вечно во все влезет своими косяматыми рогами, что, если всех нас повяжут из-за индейца Кавы, его отчислят и нас отчислят из-за дурацкого стекла, да ради всего святого, не кусайся, сучка ты Недокормленная.

Следующие дни, однообразные, унижительные, он тоже позабыл. Вставал рано – все тело болело от бессонницы – и бродил по недообставленным комнатам чужого дома. В пристройке вроде мансарды, возведенной на плоской крыше, обнаружил кипы газет и журналов и рассеянно листал их дни напролет. Родителей избегал, отвечал односложно. «Как тебе показался папа?» – спросила однажды мама. «Никак, – сказал он, – никак не показался». В другой раз спросила: «Ты доволен, Ричи?» – «Нет». На следующий день после приезда в Лиму отец пришел к нему, когда он еще лежал в постели. Он впервые разглядел его лицо. Лицо улыбалось. «Доброе утро», – выдавил Рикардо, не шевелясь. На глаза отца набежала тень. С этой минуты началась негласная война. Рикардо не вставал, пока за отцом не захлопывалась дверь. Застав его во время обеда, он бормотал: «Добрый день» – и убегал в мансарду. Иногда после обеда его возили гулять. Сидя в одиночестве на заднем сиденье автомобиля, Рикардо старательно изображал интерес к паркам, проспектам и площадям. Он не раскрывал рта, но держал ухо востро, вслушивался в родительские разговоры. Смысл некоторых намеков от него ускользал – и повергал в лихорадочную бессонницу на следующую ночь. Не терял бдительности. Если к нему вдруг обращались, отвечал: «Что-что?» Однажды вечером он услышал, как они в соседней комнате говорят о нем. «Ему всего восемь лет, – говорила мама, – он привыкнет». «Мог бы уже привыкнуть – времени у него было хоть отбавляй», – отвечал отец другим тоном – сухим, резким. «Он ведь тебя никогда не видел, – уговаривала мама, – подожди еще». «Ты его плохо воспитала, – говорил он. – Это ты виновата, что он такой. Прямо как баба». Потом стало неразборчиво. Через несколько дней он почуял неладное: родители вели себя таинственно, говорили загадками. Он усилил слежку: не пропускал ни одного жеста, поступка, взгляда. Но раскусить их замысел у него не получалось. Однажды утром мама обняла его и сказала: «Как ты отнесешься к тому, что у тебя будет сестренка?» Он подумал: «Если я покончу с собой, это они будут виноваты. И отправятся в ад». Стояли последние дни лета. Его распирало от нетерпения. В апреле начнется школа, и большую часть дня он тогда будет проводить вне дома. Хорошенько

поразмыслив в мансарде, он подошел к маме и сказал: «А нельзя мне и жить в школе?» Он старался говорить ровным голосом, но у мамы в глазах стояли слезы. Засунул руки в карманы и добавил: «Я учебу не очень люблю – помнишь, еще тетя Аделина в Чиклайо говорила? Отцу не понравится, если я буду плохо учиться. А в интернатах заниматься силой заставляют». Мама не отрываясь смотрела на него; он смешался. «А кто же останется с мамой вместе тебя?» – «Она, – быстро ответил Рикардо, – моя сестренка». Тревога на мамином лице сменилась горькой усталостью. «Не будет никакой сестренки, – сказала она, – я забыла тебе сказать». Весь оставшийся день он переживал, что опростоволосился: его терзало, как невольно и бессмысленно он заявил о своих чувствах. Ночью на постели, глядя широко распахнутыми глазами в темноту, обдумывал план исправления промаха: разговоры с ними свести к минимуму, проводить больше времени в мансарде, – как вдруг вся комната наполнилась громовым голосом и неслышанными словами. Он испугался, перестал думать. Брань доносилась ужасно отчетливо, и временами сквозь мужские крики и ругательства прорывался слабый, умоляющий мамин голос. Потом шум на секунду стих, и раздался свистящий хлопок, и когда мама крикнула: «Ричи!» – он уже вскочил, бросился к двери и ворвался в другую комнату с криком: «Не бей мою маму!» Он краем глаза углядел маму в ночной рубашке – лицо искажено неверным светом лампы, – она что-то пролепетала, но тут над ним вырос огромный белый силуэт. В голове промелькнуло: «Он голый», стало страшно. Отец отвесил ему оплеуху, и он беззвучно упал. Тут же поднялся: все кругом медленно вращалось. Он хотел сказать, что раньше его никогда не били, и так нельзя, но не успел – отец снова его ударил, и он снова рухнул на пол. И с пола увидел, словно в медленном смерче, как мама спрыгивает с кровати, а отец оттесняет ее и легко отталкивает обратно, потом оборачивается и, рыча, идет к нему, и вот его поднимают в воздух, и внезапно он уже в своей комнате, в темноте, и человек, проступающий голым телом сквозь темноту, опять бьет его по лицу, и он еще успевает увидеть, как этот человек встает между ним и мамой, появившейся на пороге, хватая ее за локоть и утаскивает, как тряпичную куклу, а потом дверь захлопнулась, и он утонул в водовороте кошмара.

IV

Он вышел из автобуса на Камфарной улице, и широким шагом отмахал три квартала до дома. Переходя улицу, заметил стайку мальчишек. За спиной кто-то издевательски спросил: «Шоколадками торгуешь?» Остальные захихикали. Несколько лет назад он сам с приятелями дразнил кадетов «шоколадниками». Небо затянуло свинцом, но было не холодно. Вилла Камфарная выглядела заброшенной. Мама открыла. Он поцеловал ее.

– Ты почему так поздно, Альберто?

– Трамваи из Кальяо идут переполненные, мам. И с перерывом в полчаса.

Мама забрала у него портфель и фуражку и пошла следом за ним в его комнату. Маленький одноэтажный дом был вылизан до блеска. Альберто снял китель и галстук, швырнул на стул. Мама подняла и аккуратно сложила.

– Обедать будешь?

– Сначала помоюсь.

– Скучал по мне?

– Очень скучал, мам.

Снял рубашку. Прежде чем снять брюки, накинул халат: мать не видела его раздетым с тех пор, как он стал кадетом.

– Я тебе форму поглажу. Пыльная вся.

– Хорошо, – сказал Альберто. Сунул ноги в тапочки. Открыл ящик комода, вытащил рубашку с жестким воротничком, трусы, майку, носки. Из тумбочки достал сверкающие черные ботинки.

– Я их утром начистила, – сказала мама.

– Руки испортишь. Ну зачем, мам?

– Кому какое дело до моих рук? – вздохнула она. – Я несчастная, всеми покинутая женщина.

– У меня утром был очень трудный экзамен, – перебил Альберто. – И сдал я его плохо.

– А, – сказала мама. – Сделать тебе ванну?

– Нет, я лучше в душ.

– Ладно, пойду обед накрывать.

Она развернулась и пошла к двери.

– Мама.

Остановилась в дверном проеме. Невысокая, очень белокожая; томные глаза глубоко посажены. Не накрашена, волосы не уложены. Поверх юбки повязан ношенный передник. Альберто вспомнились совсем недавние времена: мама часами сидела перед зеркалом, мазалась кремами от морщин, умело подводила глаза, пудрилась, каждый божий день ходила к парикмахеру, а когда намечался вечерний выход, выбор платья повергал ее чуть ли не в истерику. С тех пор как ушел отец, она изменилась.

– Ты с папой не виделась?

Она снова вздохнула, щеки порозовели.

– Заявился во вторник, представь себе, – сказала она. – Я открыла, потому что не знала, кто это. Он всякий стыд потерял, Альберто, ты даже вообразить себе не можешь. Хотел, чтобы ты ходил к нему. Деньги опять предлагал. До смерти меня замучить хочет. – Она прикрыла веки и тихо добавила: – Придется тебе смириться, сынок.

– Пойду душ приму, – сказал Альберто, – вспотел, как свинья.

Он прошел мимо мамы и погладил ее по волосам. Подумал: «Не видать нам ни сентаво». Долго стоял под душем. Тщательно намылился, оттер все тело обеими руками, пускал то горячую, то холодную воду. «Будто после пьянки», – подумалось ему. Оделся. Как обычно, гражданская одежда показалась странной, слишком мягкой; ощущение было, будто он голый, коже не хватало шершавости тика. Мама ждала его в столовой. Он молча пообедал. Как только он доедал кусок хлеба, она хлопотливо пододвигала ему хлебную корзинку.

– Пойдешь куда-нибудь?

– Да, надо передать кое-что за товарища, которого не пустили в увольнение. Я недолго.

Мама захлопала глазами. Альберто испугался, что она расплачется.

– Я тебя вообще не вижу, – сказала она. – Когда тебя отпускают, ты все время где-то болтаешься. Не жалко тебе маму?

– Это всего на час, мам, – неловко проговорил Альберто. – Может, и на меньше.

Он очень хотел есть, когда садился за стол, а теперь еда казалась нескончаемой и безвкусной. Всю неделю он мечтал об увольнении, но стоило оказаться дома, как наваливалось раздражение – удушливая мамина предупредительность давила не меньше заключения в стенах училища. К тому же теперь все было по-новому, и он еще не привык. Раньше она старалась услать его на улицу под любым предлогом, чтобы не мешал спокойно болтать с бесчисленными приятельницами, которые каждый день приходили играть в канасту. Теперь же она льнула к нему, требовала, чтобы Альберто проводил с ней все свободное время, и часами сетовала на свою трагическую судьбу. То и дело застывала, глядя в пустоту, призывала Господа и молилась вслух. В этом смысле она тоже сильно изменилась. Раньше она часто забывала ходить к мессе, и Альберто не раз слышал, как они с подружками перемывают косточки священникам и богомолкам. Теперь каждый день бывала в церкви, нашла духовника, которого называла «святым отцом», не пропускала ни одного молебна, а в очередную субботу Альберто обнаружил у нее на тумбочке житие святой Розы Лимской. Сейчас она убирала тарелки и собирала в ладонь крошки со стола.

- К пяти точно буду дома, – сказал Альберто.
- Не задерживайся, сынок. Я куплю печенья к чаю.

Тетка была толстая и неопрятная; прямые сальные волосы все время спадали на лоб, левой рукой она их откидывала и заодно почесывала голову. В другой руке держала квадратную картонку и махала над колеблющимся огоньком: по ночам уголь отсыревал и, когда его поджигали, дымил. Стены в кухне были черные, лицо стряпавшей – вечно в золе. «Тут и ослепнуть недолго», – пробормотала она. От дыма и искр слезились глаза, веки постоянно распухали.

- Что? – спросила Тереса из другой комнаты.
- Ничего, – буркнула она и склонилась к кастрюле. Суп не закипал.
- Что? – опять донеслось из комнаты.
- Ты оглохла, что ли? Ослепну я тут, говорю.
- Тебе помочь?

– Ты не умеешь, – сказала тетка сухо. Теперь она одной рукой помешивала суп, а другойковыряла в носу, – Ничего не умеешь. Ни готовить, ни шить, ничего. Несчастливая.

Тереса не ответила. Она только что вернулась с работы и теперь прибирала. В будни порядок наводила тетка, но по выходным эта обязанность возлагалась на Тересу. Особых усилий уборка не требовала – кроме кухни, в доме имелось всего две комнаты: спальня и помещение, служившее одновременно столовой, гостиной и швейной мастерской. Старый дом держался на честном слове; мебели почти не было.

– Сегодня вечером сходишь к дяде с тетей. Надеюсь, совести у них с прошлого месяца поприбавилось.

На поверхности кастрюли стали появляться дрожащие пузырьки. Глаза у тетки слегка повеселели.

- Завтра схожу, – сказала Тереса, – Сегодня не могу.
- Не можешь?

Тетка бешено обмахивалась картонкой, как веером.

- Не могу. У меня встреча.

Картонка застыла в воздухе, тетка подняла глаза. Помолчала некоторое время и опять занялась супом.

- Встреча?

– Да, – Тереса доподметала и держала метлу на весу над полом. – Меня пригласили в кино.

- В кино? Кто?

Суп кипел, но про него, казалось, забыли. Тетка развернулась в сторону комнаты, замерла и с нетерпением ждала ответа.

- Кто тебя пригласил? – повторила она. И принялась обмахиваться с новой силой.
- Мальчик, который живет на углу, – сказал Тереса и опустила метлу на пол.
- На каком углу?
- Из кирпичного дома, двухэтажного. Его зовут Арана.
- Это у них фамилия такая – Арана?
- Да.
- Это тот, что в форме всегда ходит? – не унималась тетка.
- Да. Он учится в военном училище. Сегодня у него выходной. Он зайдет за мной в шесть. Тетка подошла поближе. Глаза навывкате широко раскрылись.
- Они люди приличные, – проговорила она, – одеваются хорошо. Машина у них.
- Да, – подтвердила Тереса, – синяя.
- Ты в их машину садилась? – спросила тетка с нажимом.

– Нет. Я только раз с ним разговаривала, две недели назад. Он должен был прийти в прошлое воскресенье, но не смог. Письмо прислал.

Внезапно тетка ринулась в кухню. Огонь погас, но суп все еще кипел.

– Тебе скоро семнадцать, – сказала она, возобновляя борьбу с упрямыми космами, – но ты как на луне живешь. Я ослепну, и мы помрем с голодухи, если ты не подсуетишься. Не упусти этого парнишку. Тебе повезло, что он на тебя обратил внимание. В твоём возрасте я уже ходила беременная. И зачем только Господь дал мне детей, если потом отнял! Эх...

– Да, тетя, – сказала Тереса.

Подметая, она поглядывала на свои серые туфли на высоком каблуке: туфли были грязные и стоптанные. А если Арана поведет ее на премьеру?

– Он военный? – спросила тетка.

– Нет, он в училище Леонсио Прадо. Это как школа, только заправляют там военные.

– Так он школьник? – возмутилась тетка. – Я-то думала, взрослый мужчина. Конечно, тебе же на мои седины плевать. Ты только и ждешь, чтоб я загнулась.

Альберто повязывал галстук. Это чисто выбритое лицо, вымытые уложенные волосы, белая рубашка, светлый галстук, серый пиджак, платочек в нагрудном кармане, этот опрятный ухоженный субъект в зеркале ванной комнаты – и есть он?

– Настоящий красавец, – сказала мама из гостиной. И грустно добавила: – На отца похож.

Альберто вышел из ванной, наклонился и поцеловал маму. Она подставила лоб. Хрупкая фигурка доходила Альберто до плеча. Волосы совсем побелели. «Перестала краситься, – отметил Альберто, – выглядит теперь гораздо старше».

– Это он, – сказала мама.

И действительно, мгновение спустя зазвенел дверной звонок. «Не открывай», – сказала она, когда Альберто направился к двери, но и мешать никак не стала.

– Привет, пап, – сказал Альберто.

Невысокий, коренастый, начинает лысеть. Безупречный синий костюм. Когда Альберто поцеловал отца в щеку, на него резко пахнуло одеколоном. Отец с улыбкой похлопал его по плечу и оглядел комнату. Мама стояла на пороге коридорчика в смиренной позе: глаза потуплены, веки полуприкрыты, руки сложены поверх юбки, шея чуть выдается вперед, как бы облегчая труд палачу.

– Здравствуй, Кармела.

– Зачем ты пришел? – прошептала мама, не меняя позы.

Ни капли не смущаясь, отец закрыл входную дверь, бросил в кресло кожаную папку, непринужденно уселся и, улыбаясь, жестом пригласил Альберто тоже сесть. Альберто посмотрел на маму – она по-прежнему стояла неподвижно.

– Кармела, – весело сказал отец, – иди сюда, дорогая, поговорим. Мы и при Альберто можем поговорить, он уже совсем большой.

Альберто стало приятно. Отец, в отличие от матери, выглядел моложавым, здоровым, крепким. В его движениях и голосе проскальзывало нечто, неудержимо рвавшееся наружу. Интересно, он счастлив?

– Нам не о чем говорить, – отрезала мама. – Ни единого слова.

– Спокойно, – сказал отец, – мы же цивилизованные люди. Все решается, если спокойно обсудить.

– Ты мерзавец, негодяй! – выкрикнула мама. Она совершенно изменилась: сжала кулаки; лицо, утратив покорное выражение, покраснелось; глаза сверкали, как молнии. – Вон отсюда! Это мой дом, я сама за него плачу!

Отец в притворном ужасе зажал уши. Альберто глянул на часы. Мама заплакала, все тело сотрясилось от всхлипов. Слез она не утирала, и, сбегая по щекам, они обнаруживали светлый пушок.

– Кармела, – сказал отец, – уймись. Я не хочу с тобой ссориться. Давай утихомиримся. Так жить нельзя, это же абсурд. Тебе надо выходить из этой лачуги, завести служанок, жить. Нельзя себя запускать. Да вот хоть ради сына.

– Прочь отсюда! – взревела мама. – Это чистый дом, и не смей являться сюда и осквернять его! Отправляйся к своим потаскухам, мы не желаем ничего про тебя знать! И деньги свои держи при себе. Моих денег вполне хватает на образование сына.

– Ты живешь как нищенка, – сказал отец. – Где твое достоинство? Почему, черт подери, ты не хочешь, чтобы я платил тебе содержание?

– Альберто! – закричала мама в отчаянии, – не позволяй ему оскорблять меня! Ему мало, что он унизил меня перед всей Лимой, – он хочет меня убить! Сделай что-нибудь, сынок!

– Папа, пожалуйста, – вяло сказал Альберто, – не ссорьтесь.

– Замолкни, – ответил отец. И напустил на себя вид торжественного превосходства. – Ты еще очень молод. Когда-нибудь ты поймешь. Жизнь – штука непростая.

Альберто едва на прыснул. Однажды он увидел отца в центре Лимы с очень красивой блондинкой. Отец тоже его заметил и отвел взгляд. Вечером он пришел в комнату к Альберто, сделал точно такое же лицо, как сейчас, и сказал те же слова.

– У меня предложение, – сказал отец. – Послушай хоть минутку.

Мама снова замерла с трагическим видом. Но Альберто видел, что из-под ресниц она все равно настороженно следит за отцом.

– Тебе что важно? – сказал отец. – Приличия. Я тебя понимаю, нужно уважать нормы общества.

– Циник! – выкрикнула мама и снова сгорбилась.

– Не перебивай, дорогая. Если хочешь, можем опять начать жить вместе. Найдем хороший дом, здесь, в Мирафлоресе, может, даже удастся вернуть старый, на Диего Ферре, или там, в Сан-Антонио, в общем, где захочешь. Но ставлю условие: у меня будет полная свобода. Я буду сам распоряжаться своей жизнью, – он говорил без надрыва, спокойно, с кипучим огнем в глазах, поразившим Альберто. – И давай без сцен. Все-таки мы люди приличного круга.

Мама уже рыдала в голос, успевая при этом бранить отца «изменщиком, извращенцем, вместилищем нечистот». Альберто сказал:

– Пап, извини. Мне нужно выйти по делу. Можно я пойду?

Отец, казалось, такого не ожидал, однако дружелюбно улыбнулся и кивнул.

– Иди, сынок, – сказал он. – Я попробую уговорить маму. Это будет лучше всего. И не волнуйся. Учись прилежно – тебя ждет большое будущее. Ты ведь знаешь: если хорошо сдашь экзамены, отправлю тебя в Штаты на следующий год.

– Будущим моего ребенка занимаюсь я! – взвилась мама.

Альберто поцеловал родителей, быстро вышел и закрыл за собой дверь.

Тереса вымыла посуду – тетка отдыхала в соседней комнате, – взяла полотенце и мыло и на цыпочках вышла на улицу. К их дому примыкал другой, узкий, с желтыми стенами. Она постучалась. Открыла улыбчивая худышка.

– Привет, Тере.

– Привет, Роса. Можно у вас помыться?

– Заходи.

Они двинулись вглубь по темному коридору. На стенах висели вырезки из журналов и газет – фотографии киноартистов и футболистов.

– Видела такого? – спросила Роса. – Мне сегодня утром подарили. Это Гленн Форд. Не ходила на фильмы с ним?

– Нет, но с удовольствием сходила бы.

В конце коридора была столовая. Родители Росы молча ели. У одного стула не хватало спинки; на нем сидела мать. Отец поднял глаза от раскрытой газеты, лежавшей рядом с тарелкой, и посмотрел на Тересу.

– Тересита! – сказал он, поднимаясь.

– Добрый день.

Почти старик, пузатый, кривоногий, с квелыми глазами, он улыбался и ласково протягивал руку к Тересиному лицу. Тереса отступила назад; рука повисла в воздухе.

– Я хотела помыться, сеньора. Можно?

– Да, – сухо ответила мать. – С тебя один соль. Есть?

Тереса протянула руку: бесцветная замусоленная монета не блестела, выглядела какой-то мертвой.

– Недолго там, – сказала мать, – Воды мало.

Ванная представляла собой мрачный закуток метр на метр. На полу лежала замшелая дырявая доска. Кран, невысоко вмонтированный в стену, служил душем. Тереса закрылась и повесила полотенце на дверную ручку, так, чтобы оно закрывало замочную скважину. Разделась. Она была стройная, ладная, очень смуглая. Открыла кран, потекла холодная вода. Намыливаясь, услышала, как мать Росы орет: «Пошел оттуда, старый козел!» Раздались удаляющиеся шаги, в комнате началась перебранка. Тереса оделась и вышла. Отец Росы сидел за столом. При виде ее он подмигнул. Мать нахмурилась и буркнула:

– На пол капаешь.

– Уже ухожу, – сказала Тереса. – Большое спасибо, сеньора.

– Пока, Тересита, – сказал отец, – всегда милости просим.

Роса проводила ее до дверей. В коридоре Тереса, понизив голос, сказала:

– Я тебя хотела попросить, Росита: одолжи мне голубую ленту, ты еще ее в субботу надевала. Вечером верну.

Худышка понимающе кивнула, поднесла палец к губам. Скрылась в глубине коридора и вскоре вернулась, ступая на цыпочках.

– На, бери, – прошептала она заговорщицким тоном. – А тебе зачем? Куда идешь?

– У меня встреча, – сказала Тереса, – один молодой человек позвал меня в кино.

Глаза у нее сияли. Кажется, она радовалась.

Неспешно моросивший дождик качал листву на Камфарной улице. Альберто зашел в лавку на углу, купил сигарет, дошел до проспекта Ларко, запруженного автомобилями, некоторые – последних моделей. Яркие капоты расцветивали серый день. Прохожих было много. Он довольно долго разглядывал девушку в черных брюках, высокую и пластичную, но потом она скрылась из виду. Экспресс не шел. Альберто показалось, что поодаль двое парней ему улыбаются. Через пару секунд он их узнал. Покраснел, промямлил: «Привет», парни бросились его обнимать.

– Ты где столько времени пропадал? – спросил один, в костюме свободного кроя, с коком, напоминавшим натуральный петушиный гребешок, – Мы тебя сто лет не видели!

– Думали, ты переехал из Мирафлореса, – сказал второй, низенький и полноватый, в мокалинах и ярких носках. – Совсем тебя не видно в квартале.

– Я теперь живу на Камфарной, – сказал Альберто, – и учусь в Леонсио Прадо. Отпускают только по субботам.

– В военном училище? – удивился тот, что с коком. – За что тебя туда упекли? Там, наверное, жуть крошечная.

– Да нет. Привыкаешь, потом даже нравится.

Подошел экспресс, полный. Пришлось ехать стоя, держась за поручни. Альберто подумал про людей из автобусов в Ла-Перле или трамваев Лима-Кальяо: кричащие галстуки, запах пота, немых тел. В экспрессе все были чистенькие, вежливые, улыбались.

– А где машина твоя? – спросил Альберто.

– Моя? – не понял тот, что в мокалинах. – А, папаши моего. Больше не дает. Я ее побил.

– Ты что, не знал? – взволнованно сказал второй. – Не слышал про гонки на набережной?

– Неа, не слышал.

– Ну ты как с луны свалился, чувак. Тико вообще безбашенный, – при этих словах Тико польщенно разубался, – он поспорил с психом Хулио, – с Французской улицы, помнишь? – что обгонит его на набережной, на участке от нас до Обрыва. Еще и после дождя, представляешь, обалдуи? Я с Тико ехал. Хулио поймали патрульные, а мы слились. С вечеринки ехали, ну, сам понимаешь.

– А как побил-то? – спросил Альберто.

– Это уже потом было. Тико удумал вилить задним ходом на Атаконго. Ну и въехал в столб. Видишь шрам? А ему ничего, нечестно даже. Везучий, подлец.

Счастливый Тико широко улыбался.

– Да, ты тот еще зверюга, – сказал Альберто. – А как дела у всех наших?

– Хорошо, – сказал Тико, – мы сейчас на неделе не собираемся, у девчонок экзамены, так что они свободны только по субботам и воскресеньям. Теперь все по-другому – им разрешили ходить с нами в кино или там на вечеринки. Мамаши немного пообтесались, не возражают, чтобы у дочек были поклонники. Плуту встречается с Эленой, представляешь?

– Ты с Эленой? – восхитился Альберто.

– Завтра будет месяц, – сказал тот, что с коком, и зарделся.

– И тебе позволили с ней встречаться?

– Конечно, позволили. Ее мать иногда приглашает меня на обед. Ах да, Елена же тебе нравилась.

– Мне? – сказал Альберто. – Никогда.

– Нравилась! – повторил Плуту. – Нравилась, нравилась, еще как! Помнишь, мы тебя учили танцевать, в гостях у Эмилио? Объясняли тебе, как надо ей признаться в любви.

– Вот это были времена! – сказал Тико.

– Чушь какая, – сказал Альберто. – Никогда такого не было.

– Эгей, – сказал Плуту, отвлекшись на что-то в глубинах экспресса. – Видите ли вы то, что вижу я, негодяи вы этакие?

И он стал протискиваться к задним сиденьям. Тико и Альберто двинулись за ним. Девушка, почуяв неладное, принялась внимательно всматриваться в мелькавшие за окошком деревья. Она была симпатичная, кругленькая; почти прижатый к стеклу носик то и дело дергался, как у кролика; стекло запотевало.

– Привет, красавица, – промурлыкал Плуту.

– Не приставай к моей девушке, – сказал Тико, – а то морду набью.

– Набей, – сказал Плуту. – Я готов умереть за нее, – и развел руки, как будто читал стихи со сцены, – я люблю ее.

Оба расхохотались. Девушка продолжала изучать деревья.

– Не обижайся на него, дорогая, – сказал Тико. – Он дурно воспитан. Плуту, попроси прощения у сеньориты.

– Ты прав, – сказал Плуту. – Я дурно воспитан и раскаиваюсь. Пожалуйста, прости меня. Скажи, что прощаешь, не то устрою скандал.

– Или у тебя нет сердца? – поддакнул Тико.

Альберто тоже смотрел в окошко: деревья стояли мокрые, тротуар блестел. По встречной полосе несясь поток машин. Позади остался район Оррантия с высокими разноцветными зданиями; пошли низкие бурые дома.

– Ах вы бесстыдники! – сказала какая-то сеньора. – Оставьте бедную девочку в покое!

Тико и Плуту всё потешались. Девушка на мгновение отвернулась от окна и окинула автобус стремительным беличьим взглядом. Лицо озарила мимолетная улыбка.

– С удовольствием, сеньора, – сказал Тико и повернулся к девушке: – Просим нас простить, сеньорита.

– Мне тут выходить, – сказал Альберто и пожал им руки. – Увидимся!

– Пошли с нами, – предложил Тико, – мы идем в кино. У нас и для тебя найдется подруга. Она ничего такая.

– Не могу. У меня встреча.

– Это в Линсе-то? – ехидно сказал Плуту. – Свиданка, значит, индейская ты морда! Приятного аппетита! И не теряйся, заглядывай, все наши тебя вспоминают.

«Так и знал, что она страшная», – подумал он при виде ее, стоя на первой ступеньке крыльца. И быстро сказал:

– Добрый день! Можно мне Тересу?

– Это я.

– Меня просил кое-что передать Арана. Рикардо Арана.

– Проходите, – смущенно сказала она, – присаживайтесь.

Альберто сел на краешек стула, выпрямив спину. Он вообще его выдержит, этот стул? Сквозь занавеску в дверном проеме виднелся край кровати в другой комнате и большие темные женские ступни. Тереса стояла рядом со стулом.

– Арана не смог прийти, – сказал Альберто. – Не повезло – сегодня утром лишили увольнения. Он сказал, что вы с ним договорились о встрече, и просил извиниться.

– Лишили увольнения? – проговорила Тереса. Она выглядела разочарованной. Волосы были собраны на затылке голубой лентой. «Интересно, они в губы целовались?» – подумал Альберто.

– Это со всяким может случиться, – сказал он. – Тут уж как повезет. Он придет в следующую субботу.

– Кто там? – поинтересовался раздраженный голос. Альберто заметил, что ступни за занавеской исчезли. Через мгновение потное лицо показалось в проеме. Альберто встал.

– Это друг Араны, – сказала Тереса. – Его зовут...

Альберто представился. Его руку обхватила толстая, вялая, влажная рука-моллюск. Тересина родственница делано заулыбалась и пустилась в неумолчную трескотню. Слова лились пулеметной очередью; учтивые клише, которых Альберто наслушался в детстве, звучали в ее исполнении нелепей нелепого, пересыпанные пышными бездумными прилагательными; время от времени, опомнившись, он осознавал, что его величают «сеньором» и «доном», и допрашивают, не дожидаясь ответов. Его как будто заключили в словесную скорлупу, заманили в лабиринт звуков.

– Присаживайтесь, присаживайтесь, – умоляла она, указывая на стул и изгибаясь в громоздком поклоне, словно какое-то крупное млекопитающее. – Вы на меня не обращайтесь внимания, чувствуете себя как дома, в нашем скромном, но благопристойном жилище, я ведь, знаете ли, всю жизнь в поте лица хлеб добываю, как бог велел, сама швея и образование моей племяшечке Тересите смогла обеспечить, она ведь сирота, бедняжка, вот оно как, мне всем обязана, а вы присаживайтесь, сеньор Альберто.

– Арану не отпустили в увольнение, – сказала Тереса, избегая смотреть на Альберто и тетку. – Он попросил сеньора передать мне извинения.

«Сеньора?» – про себя удивился Альберто и попробовал поймать взгляд Тересы, но та устала в пол. Тетка стояла в полный рост и разводила руками. Улыбка заиндевела на ее лице, въелась в скулы, в широкий нос, в глаза, глубоко сидящие под набрякшими веками.

– Бедный мальчик, – причитала она, – бедный, бедный, как, должно быть, переживает его матушка, у меня тоже ведь были детки, я знаю, что такое материнская боль, все они у меня померли, такова воля господня, куда уж нам ее понять, но ничего, отпустят на следующей неделе, жизнь – она всем не сахар, я-то хорошо понимаю, а вы, молодежь, лучше даже и не думайте про это, а куда, скажите на милость, вы Тереситу поведете?

– Тетя! – Тересу передернуло. – Он пришел только передать привет. А не...

– А за меня не волнуйтесь, – промолвила тетка, само понимание, доброта и смирение, – Молодежь свободнее себя чувствует, когда старики не вмешиваются, я ведь тоже была молодая, а теперь вот постарела, но и вас ждут заботы, старость, видите ли, не радость. а вы знали, что я постепенно слепну?

– Тетя, – повторила Тереса, – пожалуйста...

– С вашего позволения, – сказал Альберто, – мы могли бы пойти в кино. Если вы не возражаете.

Тереса снова устала в пол; она не знала, что сказать и куда девать руки.

– Только вы недолго, – ответила тетка. – Молодежь не должна гулять допоздна, дон Альберто, – и повернулась к Тересе: – Поди-ка сюда на минутку. Просим прощения, сеньор.

Она взяла Тересу под локоть и утянула в другую комнату. Ее слова долетали до Альберто, словно в порывах ветра, он улавливал их по отдельности, но связи установить не мог. Он смутно догадывался, что Тереса не хочет с ним никуда идти, а тетка, не давая себе труда возражать, примерно описывала ей свое видение Альберто, точнее, воплощение идеального мужчины, каковым он представлял ее глазам: богатого, красивого, элегантного, завидного жениха, – словом, настоящее сокровище.

Занавеска сдвинулась. Альберто улыбался. Тереса, недовольная и еще более сконфуженная, чем раньше, стиснула ладони.

– Можете идти, – разрешила тетка. – Я за ней, знаете ли, как ястреб, слежу. С кем попало не отпускаю. Она ведь очень трудолюбивая, хоть так и не скажешь по ней, по худышке моей. Ну, я рада, что вы повеселитесь чуток.

Тереса прошла к двери и отпрянула, пропуская Альберто первым. Моросить прекратило, но воздух пах влажностью, и вся улица отливала скользким блеском. Альберто уступил Тересе внутреннюю сторону тротуара. Вытащил сигареты, закурил. Искоса глянул: она двигалась коротенькими шажками и смущенно смотрела перед собой. До угла дошли в молчании. Там она остановилась.

– Я досюда. У меня подруга живет на соседней улице. Спасибо за все.

– Да ну что ты, – сказал Альберто. – Почему?

– Вы уж не сердитесь на тетю, – сказала Тереса. Теперь она смотрела ему в глаза и вроде бы немного успокоилась. – Она очень хорошая и так старается, чтобы я не сидела дома.

– Да, – согласился Альберто, – она очень милая и любезная.

– Только говорит много, – сказала Тереса и расхохоталась.

«Она страшенькая, но у нее красивые зубы, – подумал Альберто. – Вот бы послушать, как Раб объяснял ей в любви».

– Арана рассердится, если мы с тобой куда-нибудь сходим?

– Я с ним почти не знакома. Он в первый раз меня пригласил. Он вам не рассказывал?

– Может, перейдем на ты? – предложил Альберто.

Они стояли на углу. Поблизости никого не было, только в конце улиц виднелись прохожие. Снова начало накрапывать. Спускался легчайший туман.

– Ладно, – сказала Тереса, – давай на ты.

– Да, давай. А то на вы странно, как будто старички разговаривают.

Они помолчали. Альберто уронил окурок, затушил ногой.

– Ну, ладно, – сказала Тереса и протянула руку, – пока.

– Нет, – сказал Альберто. – Подруга может подождать. Пойдем в кино.

Тереса нахмурилась.

– Ты совсем не обязан. Правда. Тебе что, заняться больше нечем?

– Да даже если бы было чем. Но правда – нечем, честное слово.

– Ну, хорошо, – сказала она, выставила руку ладонью кверху и устремила взгляд в небо.

Альберто подметил, какие лучистые у нее глаза.

– Дождь идет.

– Это разве дождь.

– Давай на экспрессе.

Они направились к проспекту Арекипа. Альберто снова закурил.

– Ты же только что затушил одну, – заметила Тереса. – Много куришь?

– Нет, только в увольнении.

– В училище вам не позволяют курить?

– Запрещено. Но тайком мы все равно курим.

Чем ближе оказывался проспект, тем выше становились дома, шире – улицы. Попадались группки прохожих. Какие-то парни без пиджаков что-то прокричали Тересе. Альберто сделал движение им навстречу, но Тереса ухватила его за рукав.

– Брось, – сказала она, – они вечно несут всякие глупости.

– Нельзя беспокоить девушку, если она идет с молодым человеком, – возразил Альберто. – Это верх наглости.

– Вы, из Леонсио Прадо, такие вспыльчивые.

Альберто вспыхнул от удовольствия. А Вальяно-то не дурак: кадеты и вправду производят на девушек впечатление – пусть не в Мирафлоресе, зато в Линсе. И он пустился рассказывать про училище, про соперничество между курсами, про полевые занятия, про викунью и про собаку Недокормленную. Тереса слушала внимательно и смеялась его историям. Сказала, что работает в одной конторе в центре, а раньше изучала стенографию и машинопись на курсах. Они сели в экспресс на остановке у школы Раймонди и вышли на площади Сан-Мартин. Под сводами галереи околачивались Плуту и Тико. Они смерили парочку взглядами. Тико улыбнулся Альберто и подмигнул.

– Вы разве не в кино собирались?

– Нас продинамили, – сказал Плуту.

Попрощались. Альберто услышал, как они шушукаются у него за спиной. И ему показалось, что косые взгляды всего квартала впиваются в него, словно колющий дождь.

– Какой фильм хочешь посмотреть?

– Не знаю. Любой.

Альберто купил газету и клоунским голосом зачитал киноанонсы. Тереса смеялась, и прохожие в галерее оборачивались на них. Выбрали кинотеатр «Метро». Альберто взял два билета в партер. «Знал бы Арана, на что он мне деньги одолжил, – думал он, – к Златоножке пойти уже не получится». Улыбнулся Тересе, она улыбнулась в ответ. Было совсем рано, и кинотеатр стоял почти пустой. Альберто блистал остроумием – оттачивал на немного пугавшей его девушке находчивые фразочки, подколы и шутки, которые столько раз слышал у себя в квартале.

– Красивый кинотеатр, – сказала Тереса, – очень элегантный.

– Ты тут ни разу не была?

– Нет, я вообще редко бываю в кино в центре. Поздно заканчиваю работать, в половине седьмого.

– Не любишь кино?

– Очень люблю. Хожу каждое воскресенье. Но рядом с домом.

Фильм оказался цветной, с танцевальными номерами. Главный герой совмещал амплу танцора и комика – путал имена, спотыкался, корчил гримасы, косил глазами. «За километр видно – пидор», – думал Альберто и поглядывал на Тересу: та была поглощена происходившим на экране: приоткрытый рот, горящие глаза. Когда они вышли из зала, она заговорила о фильме так, будто Альберто его не видел. Красочно описывала костюмы и украшения персонажей, а вспоминая забавные эпизоды, заливалась чистым смехом.

– У тебя хорошая память, – сказал Альберто. – Как ты все это запомнила?

– Очень люблю кино – я же говорила. Когда смотрю картину, обо всем забываю, как будто переносусь в другой мир.

– Да, – подтвердил Альберто, – ты была прямо как загипнотизированная.

В экспрессе они сели рядышком. На площади Сан-Мартин прогуливались под фонарями люди, недавно вышедшие с премьер в ближайших кинотеатрах. Все пространство по краям центрального прямоугольника площади было запружено автомобилями. Перед школой Раймонди Альберто позвонил в автобусный звонок, давая водителю понять, что они выходят.

– Можешь меня не провожать, – сказала Тереса, – я и одна дойду. И так уже отняла у тебя много времени.

Альберто не согласился. Улица, ведущая в сердце района Линсе, утопала во мраке. Одни парочки проходили мимо, другие, застывшие в темных уголках, переставали при виде их шушукаться или целоваться.

– У тебя правда не было никаких планов? – спросила Тереса.

– Никаких, честное слово.

– Не верю.

– Почему? Я правду говорю.

Она поколебалась, потом все-таки отважилась:

– У тебя разве нет девушки?

– Нет. Нету.

– Врешь ведь. Ну, по крайней мере, у тебя их было много.

– Не много. Так, парочка. А у тебя было много поклонников?

– У меня? Ни одного.

«А что, если прямо сейчас предложить ей встретиться?» – подумал Альберто.

– Что-то не верится. Наверное, куча целая была.

– Не верится? Если хочешь знать, меня первый раз в жизни в кино позвали.

Проспект Арекипа с нескончаемой двойной вереницей машин остался далеко позади; улица становилась все уже, мрак сгущался. С деревьев катились на тротуар невесомые капельки, осевшие на листьях и ветках еще днем, когда моросило.

– Так ты сама, наверное, не хотела.

– Чего не хотела?

– Заводить поклонников, – он секунду помедлил и добавил: – У всех красивых девушек от поклонников отбою нет.

– О, – сказала Тереса, – так то – у красивых. Думаешь, я не понимаю, что я не красавица?

Альберто энергично замотал головой и с жаром сказал: «Я мало девушек видел красивее тебя». Тереса повернулась к нему.

– Издеваешься? – пробормотала она.

«Вот я дурак», – подумал Альберто. Он ощущал ее мелкие шаги, по два – на каждый его шаг, и боковым зрением видел, как она идет: голова слегка склонена, руки скрещены на груди, губы сжаты. Голубая лента казалась теперь черной, сливалась с волосами и вспыхивала, только

когда Тереса проходила под фонарем, а потом вновь погружалась в темноту. В молчании они дошли до дома.

– Спасибо за все, – сказала Тереса, – большое спасибо.

Они пожали друг другу руки.

– До скорого.

Альберто развернулся, но, сделав пару шагов, передумал.

– Тереса.

Она уже собиралась постучать в дверь. Удивленно обернулась.

– У тебя на завтра есть планы? – спросил Альберто.

– На завтра?

– Да. Хочешь в кино?

– Нет, у меня нет планов. Большое спасибо.

– Я зайду в пять.

Прежде чем постучаться, Тереса подождала, пока Альберто скроется из виду.

Мама открыла дверь, и Альберто начал извиняться, даже не поздоровавшись. Она смотрела с упреком и вздыхала. Сели в гостиной. Мама молчала и только награждала его обиженными взглядами. На Альберто навалилась невыразимая скука.

– Ну, прости меня, – повторил он, – не сердись, мам. Я тебе клянусь, что всеми силами старался уйти пораньше, но мне не дали. Я немножко устал. Можно я пойду спать?

Никакого ответа, только горькая обида в глазах. «Когда уже начнется?» – задавался вопросом Альберто. Началось довольно скоро: вдруг она закрыла лицо руками и залилась тихим сладким плачем. Альберто погладил ее по волосам. Она спросила, за что он подвергает ее страданиям. Он поклялся, что любит ее больше всего на свете, а она в ответ назвала его циником, который пошел весь в отца. Причитания и обрывки молитв мешались с рассказом о печенье и пирожных, выбранных с такой любовью в лавке по соседству, о чае, остывшем на столе, об одиночестве и горе, которое ниспослал ей Господь, дабы испытать ее силу духа и самоотверженность. Альберто гладил ее по голове, время от времени целовал в лоб и думал: «Вот и еще неделя прошла, а я так и не добрался до Златоножки». Мама постепенно успокоилась и потребовала, чтобы он немедленно попробовал то, что она собственноручно ему готовила. Альберто покорно хлебал фасолевый суп, а мама обнимала его и приговаривала: «Ты моя единственная опора в этом мире». Отец, по ее словам, просидел у них больше часа, осыпая ее разными предложениями: поездка за границу, видимость примирения, развод, дружеское соглашение, – и она, не раздумывая, отвергла их все.

Потом снова перешли в гостиную; Альберто попросил разрешения закурить. Мама решила, но при виде его с зажженной сигаретой опять расплакалась, потому что время идет, мальчики становятся мужчинами, а жизнь мимолетна. Вспомнила детство, поездки в Европу, школьных подружек, безмятежную юность, своих поклонников, блестящих женихов, которым она отказала ради мужчины, который теперь упорно пытается разрушить ее жизнь. И, понизив голос и сделав трагическое лицо, переключилась на последнего. Она непрерывно твердила: «В молодости он был совсем другим человеком», упоминала его спортивный дух, теннисные победы, элегантность, их свадебное путешествие в Бразилию и полуночные прогулки рука об руку по пляжу Ипанема. «Это дружки его сгубили! – восклицала она. – Лима – самый порочный город в мире. Но моими молитвами он будет спасен!» Альберто помалкивал и думал про Златоножку, которой ему и в эту субботу не видать, про то, что скажет Раб, когда узнает, что он ходил в кино с Тересой, про Плуту и Элену, про училище, про квартал, в котором не бывал три года. Наконец мама зевнула. Он поднялся и пожелал ей спокойной ночи. В спальне, начав раздеваться, обнаружил на тумбочке конверт со своим именем, выведенным печатными буквами. Внутри оказалась купюра в пятьдесят солей.

– Отец тебе оставил, – сказала мама с порога и вздохнула. – Это единственное, что я согласилась принять. Бедный мой сынок, несправедливо, что тебе тоже приходится мучиться!

Он сгреб маму в объятия, оторвал от пола, закружил и сказал: «Все будет хорошо, мамуля, я все сделаю, как ты захочешь». Она радостно улыбалась и повторяла: «Нам никто не нужен». Улучив момент, он попросил разрешения прогуляться.

– Пару минут, подышать свежим воздухом.

Мама помрачнела, но возражать не стала. Альберто снова надел галстук и пиджак, провел расческой по волосам и вышел. Мама напонила в окно:

– Обязательно помолись перед сном.

Ее прозвище всей казарме выболтал Вальяно. Однажды в воскресенье, поздним вечером, когда кадеты снимали выходную форму и выуживали из-под подкладки фуражек тайком пронесенное курево, Вальяно начал громко сам с собой толковать про какую-то шалаву из четвертого квартала улицы Уатика. Выпученные глаза вращались в орбитах, как стальные шарик в магнитных кольцах. И слова, и тон дышали жаром.

– Заткнись, клоун, – сказал Ягуар. – Дай покоя.

Но он не затыкался. Стелил постель и говорил.

Кава со своей койки спросил:

– Как, говоришь, ее зовут?

– Златоножка.

– Новенькая, наверное, – сказал Арроспиде. – Я весь четвертый квартал знаю, и никого с таким именем там нет.

В следующее воскресенье Кава, Ягуар и Арроспиде тоже про нее трепались. Пихали друг дружку локтями и посмеивались. «А я что говорил? – пыжился Вальяно. – Всегда слушайтесь моего совета». Еще неделю спустя со Златоножкой познакомилась половина взвода, и прозвище привычно отзывалось у Альберто в ушах. Заманчивые, хоть и противоречивые, подробности из уст кадетов подстегивали его воображение. В мечтах прозвище странно, смутно облекалось в плоть, представало всякий раз новой, но всегда одной и той же женщиной, образом, который таял, стоило протянуть к нему руку или всмотреться в черты лица, толкал на самые причудливые порывы, ввергал в пучину нежности, заставлял Альберто умирать от нетерпения.

Он и сам частенько заливал во взводе про Златоножку. Никто не догадывался, что Альберто только понаслышке знаком с улицей Уатика и окрестностями, потому что он умел подбросить деталей в выдуманные истории. Но это не избавляло его от томления духа: чем больше небылиц про секс он рассказывал восхищенным или без стеснения запускаящим руку в штаны товарищам, тем тверже был уверен, что ему никогда не суждено оказаться в постели с женщиной, разве что во сне, и он впадал в тоску и обещал себе, что в следующее увольнение обязательно пойдет на Уатику, даже если придется спереть двадцать солей, даже если подцепит там сифилис.

Он вышел на углу проспекта 28 июля и проспекта Уилсон. В голове стучало: «Мне пятнадцать, но выгляжу старше. Нечего дрейфить». Закурил, отбросил сигарету после двух затяжек. Чем дальше он шел по проспекту 28 июля, тем больше народу становилось вокруг. За путями трамвайной линии Лима-Чоррильос он оказался в толпе рабочих, служанок, полукровок с зализанными волосами, самбо, отличавшихся танцующей походкой, меднокожих индейцев, улыбчивых чоло⁸. Воздух в квартале Ла-Виктория был пропитан запахом креольской еды

⁸ Чоло – слово широкой семантики, в Перу обозначающее в первую очередь метисов, людей, имеющих индейские и европейские корни. Исторически обладает уничижительным значением вследствие распространенности расизма.

и креольского питья, почти видимым духом шкварок и писко, пота и бутербродов с ветчиной, пива и ног.

На громадной людной площади Ла-Виктория каменный инка, устремляющий перст к горизонту, напомнил Альберто статую героя в училище и Вальяно, который говаривал: «Манко Капак⁹ – сутенер, он нам показывает дорогу на Уатику». В толчее приходилось идти медленно, он почти задыхался. Редкие фонари будто бы нарочно светили тускло, оттеняя зловещие угловатые черты мужчин, бродивших между одинаковыми низенькими домиками по обеим сторонам проспекта и заглядывавших в окна. На углу Уатики, в кабаке карлика-японца, раздавалась громкая брань. Альберто сунул нос внутрь: вокруг уставленного бутылками стола яростно ругались несколько мужчин и женщин. Он немного поболтался на перекрестке: стоял, засунув руки в карманы, и исподтишка наблюдал за проплывавшими мимо лицами: у некоторых прохожих глаза был остекленевшие, другие вроде бы веселились от души.

Он отряхнул пиджак и нырнул в четвертый квартал Уатики, самый популярный; презрительная усмешка и загравленный взгляд. Идти пришлось недолго: он наизусть помнил, что Златоножку следует искать во втором доме от угла. У дверей выстроилась очередь из трех человек. Альберто заглянул в окно: малюсенькая, обшитая деревом прихожая, лампа с красным светом, стул, выцветшая до полной потери четкости фотография на стене, у окна скамеечка. «Она невысокая», – разочарованно подумал он. Кто-то тронул его за плечо.

– Юноша, – сказал голос и обдал его луковым смрадом, – вы слепой или, может, самый умный?

Фонари освещали только центр улицы, а красный свет едва добирался до подоконника, – Альберто не видел лица незнакомца. Он вдруг понял, что все множество мужчин передвигалось вдоль домов, в темноте; на мостовой было совсем пусто.

– Ну так что? – настаивал голос. – Слепак или умник?

– Вы о чем? – спросил Альберто.

– Я на рожон не лезу, – сказал незнакомец, – но не надо из меня дурачка делать. Не родился еще тот, кто мне лапши на уши навешает. На уши или куда еще, ясно?

– Ясно, – сказал Альберто, – а что вы хотели?

– В очередь стань. Не наглей.

– Ладно. Успокойтесь вы.

Он отодвинулся от окна, и незнакомец утратил к нему интерес. Он стал в конец очереди, прислонился к стене и выкурил четыре сигареты подряд. Мужчина перед ним провел внутри совсем немного времени и удалился, бормоча под нос что-то про дороговизну. Женский голос за дверью сказал:

– Заходи.

Он пересек пустую прихожую. В комнату вела дверь с матовым стеклом. «Я больше не боюсь, – сказал себе Альберто, – я мужчина». Он толкнул дверь. Комната оказалась не больше прихожей. Свет, тоже красный, был ярче, безжалостнее; взгляд уловил разом множество предметов и запорхал, не останавливаясь ни на одном; Альберто на несколько мгновений растерялся, видел только разнокалиберные пятна, даже не различил лица женщины, лежавшей на кровати, – лишь темный узор на ее халате, то ли звери, то ли цветы. Потом самообладание вернулось. Женщина села. Она и вправду была низенькая – ступни едва доставали до пола. Под спутанными светлыми кудрями проступали черные корни. Густо накрашенное лицо улыбалось. Альберто опустил взгляд и увидел двух перламутровых рыбок, живых, настоящих, телесных, – «таких только скушать в один присест без масла», по словам Вальяно, – не вязавшихся с плотным тельцем, которому они принадлежали, бесформенным пресным ртом и мертвыми глазами, уставившимися на клиента.

⁹ *Манко Капак* (ок. 1200 – ок. 1230) – основатель и первый правитель государства инков с центром в Куско.

– Ты из Леонсио Прадо, – сказала она.

– Да.

– Пятый курс, первый взвод?

– Да.

Она расхохоталась.

– Только за сегодня восемь. А на той неделе уж не знаю сколько приходило. Я у вас вроде талисмана.

– Я сегодня в первый раз, – сказал Альберто и покраснел. – Я...

Его прервал взрыв хохота, громче первого.

– Я не суеверная, – сказала она со смехом. – Бесплатно не работаю и выдумкам всяким не верю – стара для этого, знаешь ли. Тут каждый день кто-нибудь да в первый раз – в надежде на халяву-то.

– Да нет, – сказал Альберто, – деньги у меня есть.

– Так-то лучше. Положи на тумбочку. И поторапливайся, кадетик.

Альберто медленно разделся и аккуратно сложил вещи. Она безразлично наблюдала за процессом. Потом лениво растянулась на постели и распахнула халат. Под халатом она была голая, если не считать розового приспущенного лифчика, открывавшего верх груди. «Все-таки натуральная блондинка», – промелькнуло у Альберто. Он лег рядом, она быстро обхватила его спину руками и притянула на себя. Он почувствовал, как под его животом ее живот скользит в поисках подходящей позиции, крепкой связки. Потом ее ноги поднялись, согнулись в воздухе, рыбки мягко коснулись его бедер, застыли на миг, перебрались к почкам, а оттуда спустились к ягодицам и ляжкам и начали медленно плавать вверх-вниз. Руки на спине вскоре тоже ожили, поглаживая его от талии до плеч в том же ритме, что и ноги. Ее губы были совсем рядом с его ухом, он слышал какое-то бормотание, шепот, потом она выругалась. Руки и рыбки замерли.

– Ты вздремнуть пришел, что ли?

– Не сердись, – пролепетал Альберто. – Не знаю, что со мной такое.

– Зато я знаю. Дрочила.

Он невесело рассмеялся и тоже выругался. Она снова зашлась грубым хохотом, приподнялась и отодвинула Альберто. Села и уставилась на него с лукавым выражением, которого он раньше не замечал.

– А может, ты и впрямь святой блаженненький, – сказала она. – Ну-ка, ляг.

Альберто вытянулся на постели. Он видел Златоножку, стоящую на коленях рядом с ним, ее светлую, слегка покрасневшую кожу, волосы, казавшиеся темными в красном свете сзади, и думал про статуэтку в музее, про восковую куклу, про обезьяну, которую видел в цирке, и не замечал деловитой суеты трогавших его рук и не слышал липкого голоса, называвшего его шельмой и развратником. Потом все образы и предметы исчезли, и остались только окутывающий его красный свет и жгучее нетерпение.

Под часами на проспекте Кольмена, на углу площади Сан-Мартин, где конечная остановка трамваев, идущих в Кальяо, зыбится море белых фуражек. С тротуаров у отеля «Боливар» и бара «Рим» продавцы газет, шоферы, нищие, жандармы созерцают непрерывный приток кадетов – они стайками спешат отовсюду и сбиваются под часами на трамвайной остановке. Некоторые выходят из окрестных баров. Мешают движению, огрызаются на гудящих автомобилистов, пристают к женщинам, отважившимся перебежать этот угол, роятся, как пчелы, переругиваются и хохочут. Они молниеносно заполняют трамвай, и штатские спешат забиться подальше, к хвосту. Третьекурсники чертыхаются сквозь зубы всякий раз, как заносят ногу над ступеньками, а кто-то сгребает их за загривок и рычит: «Сперва кадеты садятся, а потом уж псы».

– Пол-одиннадцатого, – сказал Вальяно, – надеюсь, последняя машина не ушла еще.

– Не половина, а двадцать минут, – сказал Арроспиде. – Успеем.

Трамвай шел битком набитый. Оба стояли. По воскресеньям из училища в Бельявисту отправляли грузовик за кадетами.

– Ты глянь, – сказал Вальяно. – Два пса. Руки друг другу на плечи положили, чтоб погон не видно было. Хитрожопые.

– Простите, – Арроспиде принялся пробивать путь к сиденью, которое занимали третьекурсники. Те при виде надвигающейся угрозы начали переговариваться. Трамвай отъехал от площади Второго мая и катился мимо невидимых огородов.

– Добрый вечер, кадеты, – сказал Вальяно.

Кадеты сделали вид, что не слышат. Арроспиде легонько постучал одного по голове.

– Мы очень устали, – сказал Вальяно. – Встаньте.

Псы послушались.

– Что делал вчера? – спросил Арроспиде.

– Да ничего особенного. В субботу ходил в гости, а получилось, что на поминки. День рождения вроде. Когда я пришел, там уже какая-то поножовщина творилась. Старуха, которая открыла дверь, сразу мне заорала: «Гони за врачом и за священником!» Ну, и пришлось слиться. Облом, в общем. А, на Уатику еще ходил. Кстати, у меня есть кое-что взводу рассказать про Поэта.

– Что?

– Нет, я при всех расскажу. История – пальчики оближешь.

Но до казармы ему ждать не пришлось. Последняя машина училища шла по Пальмовому проспекту к утесам Ла-Перлы. Вальяно, сидевший на своем портфеле, сказал:

– А ведь это все равно как частная машина нашего взвода. Почти все тут.

– Точно, чернушка, – сказал Ягуар. – Ты себя блюди, а то изнасилуем.

– А знаете что?

– Что? – сказал Ягуар. – Тебя уже изнасиловали?

– Да иди ты, – сказал Вальяно. – Это насчет Поэта.

– Чего там еще? – подал голос Альберто, зажатый у кабины.

– А, ты там? Ну, тем хуже для тебя. В субботу я ходил к Златоножке, и она сказала, ты ей заплатил, чтобы она тебе подрочила.

– Тьфу, – сказал Ягуар, – я бы тебе бесплатно услугу оказал.

Послышались неохотные вежливые смешки.

– Златоножка с Вальяно в койке – это типа как кофе с молоком, наверное, – сказал Арроспиде.

– А если сверху Поэта положить, получится негр в тесте, хот-дог, – добавил Ягуар.

– Вылезаем! – прогремел сержант Песоа. Грузовик остановился у ворот училища, и все начали соскакивать на землю. Уже в здании Альберто опомнился: он не спрятал сигареты. Сделал шаг назад, но вдруг с изумлением обнаружил, что на посту у проходной двое солдат и больше никого. Ни единого офицера. Неслыханное дело.

– Все лейтенанты померли, что ли? – предположил Вальяно.

– Твои бы слова да богу в уши, – сказал Арроспиде.

Альберто зашел в казарму. Было темно, но через открытую дверь уборной просачивался тусклый свет, придававший кадетам, раздевавшимся у шкафчиков, какой-то масляный отблеск.

– Фернандес, – сказал кто-то.

– Здорово, – сказал Альберто, – ты чего?

Перед ним стоял в пижаме Раб, и лицо его искажал ужас.

– Ты что, не знаешь?

– Нет. Что случилось?

– Всплыла кража вопросов по химии. Они стекло в кабинете разбили, когда лезли. Вчера приходил полковник. Орал на офицеров на всю столовую. Все как озверели. А тех, кто дежурил в пятницу...

– Да, – сказал Альберто, – что нам за это?

– Лишают увольнений, пока не найдется виновный.

– Вот дерьмо, – сказал Альберто, – в бога душу мать его совсем.

V

Однажды я подумал: «Я ведь ни разу наедине с ней не был. А не встретить ли ее после школы?» Но не решался. Что бы я ей сказал? И где бы взял деньги на билет? Тере обедала у родичей, в центре, рядом со школой. Я собирался прийти как-нибудь в полдень к школе, встретить ее и проводить до этих самых родичей, получилась бы такая прогулка. В прошлом году один парень дал мне полтора соля за то, что я сделал его домашку по труду, но в нынешнем классе труда не было. Я часами раздумывал, где раздобыть денег. И надумал одолжить соль у Тощего Игераса. Он вечно меня угощал кофе с молоком или стопочкой писко с сигареткой, так что вряд ли соль его напряг бы. В тот же день, встретившись с ним на площади Бельявиста, я попросил займы. «Конечно, мужик, – сказал он, – на то мы и друзья». Я пообещал отдать в свой день рождения, а он посмеялся и сказал: «Само собой. Отдашь, как сможешь. На, держи». Как только соль оказался у меня в кармане, я будто ошалел от счастья и ночью не спал, а потом зевал на всех уроках. Через три дня сказал матери: «Я пообедаю у друга, в Чукуито». А в школе отпросился у учителя на полчаса пораньше, и он сразу разрешил, потому что я был чуть ли не первый ученик.

Трамвай пришел почти пустой, так что зайцем проехаться не получилось, зато взяли с меня только за половину пути. Вылез на площади Второго мая. Однажды мы с матерью шли по проспекту Альфонсо Угарте к крестному, и она сказала: «Вот в том здоровенном доме учится Тересита». Я хорошо запомнил и знал, что как только этот дом увижу, сразу же узнаю, но теперь никак не мог найти проспект Альфонсо Угарте, а когда оказался на Кольмене, как стукнуло, бегом вернулся – и точно, вот он, этот черный домина, рядом с площадью Болоньези. Там как раз кончились уроки, повысыпали девочки, большие и маленькие, а я до ужаса стеснялся. Отошел в угол площади и стал в дверях одной лавки, как бы спрятавшись за стеклом, а сам смотрел. Была зима, но я потел. Не успел я ее увидеть вдалеке, как тут же юркнул в лавку – прямо сам себя презирал. Но потом вылез и стал смотреть ей в спину. Она шла к площади Болоньези. Одна – а я все равно к ней не подошел. Когда она исчезла из виду, вернулся на площадь Второго мая и сел в трамвай, злой, как черт. Школа была закрыта – рано еще. У меня оставалось пятьдесят сентаво, но я так ничего и не купил поесть. Весь день был в плохом настроении, а когда мы делали вместе уроки, почти все время молчал. Она спросила, что со мной такое. Я покраснел.

На следующий день я прямо посреди уроков решил, что должен вернуться и все-таки с ней прогуляться. Пошел снова отпрашиваться у учителя. «Ладно, – согласился он, – но скажи маме, что если она каждый день будет тебя снимать с уроков раньше времени, ни к чему хорошему это не приведет». Дорогу я теперь знал, поэтому явился к школе Тере раньше конца уроков. Когда все стали выходить, разволновался так же, как накануне, но уговаривал себя: «Подойду, подойду». Она появилась одной из последних, одна. Я подождал, пока она чуток отойдет от школы, и пустился за ней по пятам. На площади Болоньези догнал. Сказал: «Привет, Тере». Она слегка удивилась, я заметил по глазам, но как ни в чем не бывало ответила: «Привет! Что ты тут делаешь?» Я не знал, что соврать, и сказал: «У меня раньше уроки кончились, и я подумал, пойду тебя подожду. А что?» «Ничего, – сказала она, – просто спросила». Я спросил, идет ли она к родственникам, и она сказала, да. «А ты куда идешь?» «Не знаю.

Могу тебя проводить, если не возражаешь». «Хорошо. Это тут рядом». Ее дядя с тетей жили на проспекте Арика. Мы почти не разговаривали по пути. Она отвечала на все вопросы, но не смотрела на меня. Когда дошли до угла, сказала: «Мои живут сразу за перекрестком, так что дальше меня не надо провожать». Я улыбнулся, а она протянула мне руку. «Пока, – сказал я, – вечером приду?» «Да, да, – сказала она, – у меня куча уроков». Помолчала и добавила: «Спасибо, что проводил».

«Перлита» находится в конце пустыря, между столовой и учебным корпусом, у задней стены училища. Это маленькое бетонное строение с большим окном, которое служит стойкой. За стойкой утром и днем маячит удивительное лицо Паулино, похожего на черенка, к которому словно привили по побегу от каждой нации: раскосые японские глаза, широкий негритянский нос, индейские медные скулы и подбородок, мягкие волосы. На стойке у Паулино кола и печенье, кофе и шоколад, конфеты и пирожные, а в подсобке, то бишь в закутке без крыши, прилепленном к задней стене в том самом месте, где до появления патрулей было удобнее всего отправляться в самоволку, – сигареты и писко, вдвое дороже, чем в городе. Ночует Паулино на соломенном матрасе у стены, и муравьи прогуливаются по нему, как по пляжу. Под матрасом доска, а под доской – собственноручно вырытый Паулино тайник для пачек «Национальных» и бутылок писко, которые он толкает кадетам.

Лишенные увольнения заглядывают в «Перлиту» по субботам и воскресеньям, после обеда, маленькими группками, чтобы не вызывать подозрений. Разваливаются на полу и, пока Паулино лезет в тайник, давят муравьев плоскими камушками. Черенок – человек щедрый, но коварный: отпускает в кредит, только если его сперва поумолять и позабавить. Закуток совсем небольшой, вмещает от силы два десятка кадетов. Когда места не хватает, вновь прибывшие кукуют на пустыре, швыряясь камнями в викуню в ожидании, пока предыдущие выйдут. Третьекурсники почти не бывают на этих сборищах, потому что старшие их не пускают, либо ставят на шухер. Длятся сборища часами – с обеда до ужина. Прощтрафившимся легче смириться с заточением в воскресенье, а в субботу у них еще теплится слабая надежда на свободу, они до изнурения выдумывают планы побега – благодаря гениальному способу разжалобить дежурного офицера или неслыханному безрассудству – самоволке среди бела дня, через главные ворота. Но из десятков штрафных только одному или двум удастся смыться. Остальные бродят по опустевшим дворам училища, в позе покойников лежат на койках, глядя в пустоту и пытаясь одолеть смертную скуку силой воображения, а те, кто при деньгах, отправляются к Паулино курить, пить писко и подставляться под укусы муравьев.

В воскресенье после завтрака служат мессу. Капеллан училища – жизнерадостный белокурый падре, произносящий напитанные патриотическим духом проповеди, в которых он повествует о безупречной жизни отцов нации, их любви к Богу и к Перу, восхваляет дисциплину и порядок и сравнивает военных с миссионерами, героев – с мучениками, а церковь – с армией. Кадеты капеллана уважают, потому что в их глазах он настоящий мужик: они не раз встречали его, одетого в штатское, дышащего перегаром, масляно зыркающего, в притонах Кальяо.

Он забыл и то, как на следующее утро долго лежал с закрытыми глазами, проснувшись. Дверь отворилась, и все тело замерло в ужасе. Он затаил дыхание в полной уверенности: это он, пришел его бить. Но это пришла мама. Она серьезно и пристально его оглядела. «А он где?» – «Ушел, сейчас больше десяти». Он глубоко вздохнул и сел. Комнату заливал свет. Только сейчас он заметил звуки улицы, шум трамвая, автомобильные гудки. Чувствовал слабость, как будто выздоравливал после долгой тяжелой болезни. Ждал, когда мама заговорит о случившемся. Но она не заговаривала, хлопотала, делала вид, что наводит порядок, двигала стулья, поправляла занавески. «Давай уедем обратно в Чиклайо», – сказал он. Мама подошла к

нему и стала поглаживать. Длинные пальцы пробегали по голове, легко погружались в волосы, спускались по спине – это было приятно, тепло и напоминало прежние времена. Голос, льющийся мягким водопадом, тоже шел напрямиком из детства. Он не слушал, что говорила мама, – слова были не важны, только нежность тона имела значение. Пока она не сказала: «Мы никак не можем вернуться в Чиклайо. Ты всегда теперь будешь жить с папой». Он обернулся в полной уверенности, что сейчас она раскается и возьмет свои слова обратно, но она выглядела совершенно умиротворенной и даже улыбалась. «Я лучше буду жить с тетей Аделиной, чем с ним», – выкрикнул он. Мама невозмутимо и веско продолжала: «Просто ты его никогда прежде не видел. Он тоже не был с тобой знаком. Но все изменится, вот увидишь. Когда вы лучше познакомитесь, то сильно-пресильно полюбите друг друга, как бывает во всех семьях». – «Он меня вчера ударил, – глухо сказал он, – По лицу, как взрослого. Я не хочу с ним жить». Мама по-прежнему гладила его по голове, но рука теперь казалась не ласковой, а ужасно тяжелой. «Он вспыльчивый, но в глубине души хороший, – говорила она, – Надо уметь найти к нему подход. Ты тоже, знаешь ли, виноват: ничего не делаешь, чтобы ему понравиться. Он очень обижен на тебя из-за вчерашнего. Ты еще маленький, тебе не понять. Со временем сам увидишь, что я права. Когда он вернется, попроси прощения, что зашел в спальню. Надо его задобрить. Иначе будет сердиться». Он почувствовал, как его сердце заходится и трепещет, вроде тех жаб, которыми кишел их огород в Чиклайо, похожих на огромные железы с глазами, опадающие и раздувающиеся мешки. И тогда он понял: она на его стороне, она с ним заодно. Придется быть еще бдительнее – маме больше нельзя доверять. Он теперь один. В полдень, услышав, что входная дверь открылась, он спустился вниз, стал перед отцом и, не глядя в глаза, сказал: «Прошу прощения за вчерашнее».

– А что она еще сказала? – спросил Раб.

– Ничего, – сказал Альберто. – Ты всю неделю меня вопросами изводишь. Может, сменишь тему?

– Извини. Просто сегодня как раз суббота. Она, наверное, думает, что я ей соврал.

– Да с чего ты взял? Ты же ей написал, правильно? И вообще какая разница, что она думает?

– Я влюблен в эту девушку, – сказал Раб. – Не хочу, чтобы у нее сложилось обо мне превратное представление.

– Я тебе советую: отдохни от этой мысли, – сказал Альберто. – Кто знает, на сколько нас тут заперли. Может, еще на несколько недель. Лучше про женщин не думать.

– Я не такой, как ты, – вздохнул Раб. – У меня слабый характер. Я и хотел бы не вспоминать про нее, а на самом деле только о ней и думаю. Если в следующую субботу не отпустят, с ума, наверное, сойду. А она про меня спрашивала?

– Да сколько ж можно! – устало произнес Альберто. – Я ее видел ровно пять минут, у нее на крыльце. Повторяю в последний раз: ни о чем я с ней не разговаривал. Даже разглядеть хорошенько не успел.

– А почему тогда не хочешь ей писать?

– По кочану. Не хочу, и все.

– Странно как-то. Ты за всех пишешь письма. Почему тогда за меня не напишешь?

– Девушек остальных я не видел. И вообще, неохота мне сейчас заморачиваться с письмами. Мне и деньги-то не нужны. На что, если я тут просижу хрен знает сколько долбанных недель?

– В следующую субботу я точно выйду, – сказал Раб. – Хоть в самоволку.

– Договорились, – сказал Альберто. – А теперь пошли к Паулино. Достало все, хочу нажраться.

– Ты иди, а я в казарме останусь.

– Боишься?

– Нет. Просто не люблю, когда надо мной издеваются.

– Не будут. Мы напьемся, и первому умнику, который к тебе полезет, ты начистишь морду, и готово дело. Встал и пошел, говорю.

Казарма постепенно пустела. После обеда десять лишенных увольнения растянулись на койках и закурили. Потом Удав утянул пару человек с собой в «Перлиту». Вальяно с друзьями отправились играть в карты на деньги со вторым взводом. Альберто с Рабом поднялись, закрыли шкафчики и вышли. Во дворе, на плацу и на пустыре никого не было. Молча, засунув руки в карманы, зашагали в сторону «Перлиты». День стоял спокойный, безветренный и пасмурный. Вдруг послышался смех. В нескольких метрах, в траве обнаружился кадет в надвинутой по самые уши пилотке.

– Не заметили меня, господа кадеты, – сказал он с улыбкой. – Я бы вас и убить мог.

– Кто так говорит со старшими по званию? – возмутился Альберто. – Смирно, так тебя разэтак.

Паренек подскочил и отдал честь. Веселость как рукой сняло.

– Много народу у Паулино сидит?

– Не очень, господин кадет. Человек десять.

– Да вольно уже, – сказал Раб.

– Куришь, пес? – осведомился Альберто.

– Да, господин кадет. Но сигарет нету. Обыщите, если хотите. Две недели в увольнении не был.

– Бедняжка, – сказал Альберто, – сейчас расплачусь от жалости. На вот, – он вытащил пачку из кармана и показал третьекурснику. Тот смотрел недоверчиво, не решался протянуть руку.

– Возьми две штуки. И знай мою доброту.

Раб безучастно наблюдал за происходящим. Парень робко протянул руку, не отводя взгляда от Альберто, выудил две сигареты и улыбнулся.

– Большое спасибо, господин кадет. Вы хороший человек.

– Не за что, – ответил Альберто. – Услуга за услугу. Вечером придешь, постель мне застелешь. Я из первого взвода.

– Будет сделано, господин кадет.

– Пойдем уже, – сказал Раб.

В закуток Паулино вела жестяная дверь, прислоненная к стене. Она ничем не крепилась, и сильный порыв ветра запросто валил ее на землю. Убедившись, что офицеров поблизости нет, Альберто и Раб двинулись ко входу. Изнутри доносился гогот и перекрывавший остальные голос Удава. Альберто сделал Рабу знак молчать, на цыпочках подобрался к самой двери и с силой толкнул обеими руками. Под грохот металла в образовавшемся проеме показалась дюжина искаженных ужасом лиц.

– Всех под арест, – сказал Альберто. – Алкаши, пидарасы, извращенцы, онанисты – все собирайтесь в тюрьму.

Они стояли на пороге. Раб позади Альберто с выражением покорности, готовности подчиниться. Ловкая, обезьянья фигура встала из кучи развалившихся на полу кадетов и двинулась на Альберто.

– Заходите, блин, – сказала фигура. – Скорее, а то еще засекут. Из-за твоих шуточек, Поэт, нас тут всех повяжут однажды.

– Ты почему ко мне на ты обращаешься, индеец сраный? – сказал Альберто и переступил порог. Все взгляды обратились к Паулино. Тот хмурился; крупные одутловатые губы раскрылись, как створки мидии.

– Ты чего, белоснежка? – сказал он. – Охота, чтобы я тебе заехал, или как?

– Или как, – сказал Альберто и рухнул на пол. Раб растянулся рядом с ним. Паулино засмеялся, все тело заходило ходуном; губы тряслись и иногда открывали неровные редкие зубы.

– Шлюшку свою приволок, – сказал он. – А ну как мы ее отымеем?

– А это мысль! – выкрикнул Удав. – Давайте Рабу вставим.

– Лучше этой горилле, – Альберто кивнул на Паулино. – Он потолще будет.

– Взялся он на меня чего-то, – сказал Паулино и пожал плечами. И лег рядом с Удавом. Кто-то водворил дверь на место. В гуще развалившихся тел Альберто обнаружил бутылку писко. Потянулся к ней, но Паулино хлопнул его по руке.

– Полсоля глоток.

– Грабитель, – сказал Альберто.

Вытащил бумажник и достал купюру в пять солей.

– Давай десять.

– Это тебе одному или девчужке твоей тоже?

– За двоих.

Удав оглушительно расхохотался. Бутылка гуляла по рукам. Паулино подсчитывал глотки и резким движением выхватывал ее, если кто-то отпивал больше положенного. Раб, глотнув, закашлялся, из глаз брызнули слезы.

– Эти двое вот уже неделю не разлей вода, – сказал Удав и ткнул пальцем в Альберто и Раба, – Хотел бы я знать, с чего это.

– Ну ладно, – сказал кадет, привалившийся затылком к спине Удава, – на спор-то будем?

Паулино пришел в необычайное оживление. Он хихикал, похлопывал всех и каждого по плечу, приговаривал: «Да уж, пора, пора». Остальные под шумок жадно припадали к бутылке – за пару минут она опустела. Альберто, подложив руки под голову, посматривал на Раба: маленький рыжий муравей полз у того по щеке, но он, казалось, не замечал. Глаза отливали жидким блеском на фоне иссиня-бледной кожи. «Сейчас он вытащит деньги или бутылку, или пачку курева, а потом – вонь, как от лужи с дерьмом, и я расстегну ширинку, и ты расстегнешь, и он расстегнет, и Черенок затрясется, и все затрясутся, вот бы Гамбоа заглянул и нюхнул этого запашка». Паулино, сидя на корточках, копался в земле. Поднялся. В руках у него оказался кошелек, издававший при потряхивании звон. Лицо дышало возбуждением, крылья носа раздувались, синюшные губы широко раздвинулись в поисках добычи, виски пульсировали. Изменившееся лицо заливал пот. «Сейчас он сядет, зафыркает, как конь или как пес, по шее потечет слюна, руки заходят, как безумные, голос сорвется, уберу руку, извращенец, замесит ногами воздух, засвистит сквозь зубы, запоем, закричит, повалится на муравьев, космы упадут на лоб, уберу руку или кастрируем, растянется на земле, зароем лицом в траву, в песок, заплачет, руки и туловище замрут, умрут».

– Тут где-то десять солей полтинниками, – сказал Паулино, – а внизу есть еще бутылка для второго. Но выигравший угощает всех.

Альберто, лежа на животе, накрыл голову руками, и оттуда, снизу, наблюдал крошечную сумрачную вселенную. Закуток лихорадочно шумел: тела растягивались или скорчивались, кто-то приглушенно хихикал, Паулино хрипло дышал. Альберто перевернулся, лег затылком на землю – из этого положения ему были видны только кусок жестяного листа и кусок серого неба, одинакового размера. Над ним склонился Раб, у которого побледнели не только лицо, но и шея, и руки – под кожей угадывались голубые ручейки.

– Пойдем, Фернандес, – прошептал Раб, – пойдем отсюда.

– Нет, – сказал Альберто, – я хочу выиграть этот кошелек.

Гогот Удава теперь отдавал бешенством. Альберто немного повернул голову и увидел его громоздкие ботинки, крепкие ноги, живот, выглядывающий между краями форменной рубашки и расстегнутыми брюками, массивную шею, лишенные света глаза. Некоторые при-

спускали штаны, другие просто расстегивали. Паулино сновал вокруг разлегшихся веером тел и облизывал губы. В одной руке он держал звонкий кошелек, в другой – бутылку. «Удаву бы сейчас Недокормленную привести», – сказал кто-то, но в ответ никто не засмеялся. Альберто медленно, прикрыв глаза, расстегивал пуговицы и силился вспомнить лицо, тело, волосы Златоножки, но образ ускользал и уступал место другому – смуглой девушке, которая тоже исчезала и появлялась, показывала то руку, то изящный рот, и над ней моросил дождь, она мокла, и красный свет улицы Уатики мерцал в глубине ее темных глаз, и он говорил, вот дерьмо, и возникала белая упитанная ляжка Златоножки и опять пропадала, и по проспекту Арекипа рекой текли машины мимо остановки у школы Раймонди, на которой они стояли со смуглянкой.

– А ты чего ждешь? – возмущенно поинтересовался Паулино. Раб лежал неподвижно, положив голову на руки. Черенок нависал над ним всем своим огромным ростом. «Чпокни его, Паулино! – проорал Удав. – Чпокни Поэтову невестушку. Если Поэт дернется, я его вырублю». Альберто огляделся: в бурой земле виднелись черные бороздки, но ни одного камня поблизости не обнаружилось. Он подобрался и сжал кулаки. Паулино, раздвинув колени, склонился над ногами Раба.

– Тронешь его – морду разобью, – сказал Альберто.

– Влюбился в Раба, – протянул Удав, но по голосу – слабому, придушенному, далекому – было понятно, что ему уже не до Альберто с Рабом. Черенок усмехнулся и разинул рот: язык зачерпнул слюны и размазал по губам.

– Ничего я ему не сделаю. Только он какой-то вялый. Я ему помогу.

Раб не шевелился и, пока Паулино расстегивал ему ремень и ширинку, смотрел в потолок. Альберто отвернулся: жест белая, небо серое, в ушах музыка, разговоры рыжих муравьев в подземных лабиринтах, красный свет в лабиринтах, красноватое мерцание, а в нем все темно, и ее кожу пожирает огонь от восхитительных маленьких ножек до корней крашенных волос, на стене большое пятно, как размеренно раскачивается этот парень, будто маятник, он крепит закуток к земле, не дает ему воспарить в небеса и приземлиться в красноватую воронку Уатики, на эту ляжку, текущую молоком и медом, девушка идет под моросящим дождем, легкая, грациозная, стройная, но вот она, вулканическая струя, определенно обрела место где-то у него в душе и оттуда начинает расти, пускать щупальца по тайным каналам его тела, изгоняет девушку из его памяти и крови, выделяет аромат, влагу, обретает очертания, внизу его живота, там, где сейчас работают руки, и вдруг поднимается что-то обжигающее, неотразимое, и он видит, слышит, чувствует надвигающееся, раскаленное наслаждение, оно рвется сквозь заросли костей, мышц, нервов к бесконечности, к раю, куда не попасть рыжим муравьям, и тут он отвлекся, потому что Паулино, ловя воздух ртом, рухнул рядом, а Удав отрывисто сыпал какими-то словами. Он опять почувствовал спиной землю, повернул голову и чуть не ослеп: глаза обожгло, словно в них ткнули иглой. Паулино пристроился рядом с Удавом, а тот безразлично позволял себя ласкать. Черенок фырчал, коротко гнусаво вскрикивал, а Удав извивался с закрытыми глазами. «Вот теперь запахнет, бутылка вмиг опустеет, мы будем петь, а кто-то – травить анекдоты, Черенку взгрустнется, у меня начнется сушняк, а от курева блевать потянет, и в сон, и голова, и однажды точно туберкулезником стану, доктор Герра сказал, это все равно что семь раз подряд с женщиной переспать».

Услышав крик Удава, он не сдвинулся с места, потому что превратился в крохотное существо, уснувшее внутри розовой раковины, и ни ветру, ни воде, ни огню не под силу было проникнуть в его убежище. Но потом реальность вернулась: Удав сидел верхом на расprostертом Паулино и лупил его по щекам: «Ты меня укусил, сраный индеец, я тебя урою!» Некоторые приподнялись и вяло наблюдали. Паулино не защищался, и вскоре Удав его отпустил. Черенок с трудом встал, вытер рот, подобрал с земли кошелек и бутылку. Деньги отдал Удаву.

– Я вторым кончил, – сказал Карденас.

Паулино протянул ему бутылку. Но хромой Вилья, лежавший рядом с Альберто, сказал:

- Вранье. Не он это был.
- А кто? – спросил Паулино.
- Раб.

Удав перестал считать монеты и уставился узкими глазами на Раба. Тот по-прежнему лежал на спине, вытянув руки вдоль тела.

- Кто бы мог подумать, – сказал Удав. – У него хрен, как у мужика.
- А у тебя, как у осла, – сказал Альберто. – Застегнись, уебище.

Удав расхохотался и заскакал по закутку, между тел, потрясая членом: «Всех вас обоссу и выебу, не зря меня Удавом называют, я бабу до смерти затрахать могу». Остальные вытирались и поправляли одежду. Раб откупорил бутылку, сделал долгий глоток, сплюнул и передал Альберто. Все пили и курили. Поникший, печальный Паулино сидел в углу. «А сейчас мы выйдем и вымоем руки, а потом свисток, построимся и шагом марш в столовку, раз-два, раз-два, поедим, выйдем из столовки, разбредемся по казармам, и кто-нибудь крикнет: «Посоревнуемся?» а кто-нибудь другой ответит: «Мы уже у Черенка посоревновались, Удав выиграл», а Удав скажет: «Даже Раб был, Поэт его привел и не дал нам его отыметь, и Раб, кстати, вторым пришел», и дадут отбой, и мы будем спать, и завтра, и в понедельник, и кто знает сколько еще недель».

Эмилио пихнул его в плечо и сказал: «Вон она». Альберто поднял голову. Елена стояла, опираясь на перила галереи, смотрела на него и улыбалась. Эмилио опять ткнул его локтем и повторил: «Ну, вон же она. Иди, иди». Альберто прошипел: «Замолкни. Она с Анной, не видишь?» Рядом с белокурой головкой над перилами маячила еще одна, темноволосая, – Анна, сестра Эмилио. «Не волнуйся, – сказал Эмилио, – я ею займусь. Пошли». Альберто кивнул. Они поднялись по лестнице клуба «Террасас». В галерее было полно молодых людей, а с другого конца клуба, из залов, долетала веселая музыка. «Только очень тебя прошу, не подходите к нам, – тихо увещевал приятеля Альберто, пока они шли по лестнице, – не позволяй своей сестрице встрять. Если хочешь, идите за нами, но на расстоянии». Когда они подошли, девочки над чем-то смеялись. Елена выглядела старшей из двух. Она была худенькая, милая, с прозрачной кожей, и ничто на первый взгляд не выдавало ее отваги. Но все мальчишки из квартала ее прекрасно знали. Другие девчонки, когда к ним приставали на улице, заливались слезами, съеживались, краснели и пугались, а Елена выступала навстречу обидчикам, яростно бросала им вызов, глаза ее горели, она с готовностью отвечала на все остроты или сама проявляла инициативу и окликала мальчишек самыми постыдными прозвищами, предупреждала, приосанивалась, смотрела высокомерно, грозила кулаками, надвигалась на противника, прорывала круг осады и победоносно удалялась. Но это было раньше. Некоторое время назад – никто точно не знал, когда, в каком месяце (возможно, в июле, во время каникул, когда родители Тико устроили ему вечеринку на день рождения и пригласили девочек) – война начала угасать. Мальчишки больше не подстерегали девочек, чтобы напугать до чертиков и поиздеваться – наоборот, появление девочки бывало им приятно, пробуждало робкие чувства, заставляло запинаться в поисках сердечных слов. В свою очередь, девочки, заведя с балкона Лауры или Аны мальчика, понижали голоса, перешептывались с таинственным видом, здоровались и махали ему, и он, чувствуя себя ужасно польщенным, догадывался, в какое волнение привел весь балкон своим появлением. Разговоры на лужайке у Эмилио теперь велись иные. Футбол, велосипедные гонки, спуски к морю по утесам были преданы забвению. Непрерывно куря (никто больше не давился дымом), они обсуждали, как просочиться на фильмы, запрещенные для детей младше пятнадцати, как пройдет следующая вечеринка – разрешат ли родители завести проигрыватель и потанцевать? И гулять до полуночи, как на прошлой? И каждый рассказывал о своих встречах и разговорах с девочками. Родители внезапно обрели большое значение: некоторые, например, отец Аны и мать Лауры, пользовались всеобщей любовью, потому что здоровались

с мальчиками, расспрашивали про учебу, разрешали дочерям разговаривать с ними; прочих, например, отца Тико и матери Элены – строгих и сверхбдительных, – опасались и старались избегать.

– Пойдешь на дневной сеанс? – спросил Альберто.

Они вдвоем брели по набережной. Он слышал за спиной шаги Эмилио и Аны. Элена кивнула: «Да, в “Леуро”». Альберто решил подождать: в темноте будет проще. Несколько дней назад Тико прошупал почву, и Элена ответила: «Точно ничего сказать не могу, но если убедит, может, и соглашусь с ним дружить». Стояло ясное летнее утро, солнце в голубом небе заливало сиянием океан, и Альберто приободрился: все вроде бы благоприятствовало. С остальными девочками он никогда не смущался, смешно шутил, но и серьезный разговор мог поддержать. А с Эленой говорить было трудно, она возражала на все, даже самые невинные, утверждения, никогда не болтала попусту и не стеснялась высказывать свое мнение. Однажды Альберто заикнулся, что опоздал на мессу и пропустил чтение Евангелия. «Ну, все, конец тебе, – холодно заметила Элена. – Если умрешь сегодня ночью, отправишься прямиком в ад». В другой раз Ана с Эленой наблюдали с балкона за футбольным матчем. Потом Альберто спросил: «Как тебе моя игра?» – «Плохо ты играешь», – просто ответила она. И все же неделю назад в Центральном парке Мирафлореса, когда все собрались и долго гуляли вокруг кинотеатра «Рикардо Пальма», Альберто шел рядом с Эленой, и она вела себя довольно дружелюбно; остальные оглядывались и говорили: «Отличная пара получается!»

С набережной свернули на улицу Хуана Фаннинга, к Элениному дому. Шаги Эмилио и Аны затихли. «Увидимся в кино?» – спросил он. «Ты тоже в “Леуро” собираешься?» – сказала Элена с невинным видом. «Да, тоже». «Хорошо, тогда, может, увидимся». На углу у дома Элена протянула ему руку на прощание. Перекресток улиц Колумба и Диего Ферре, самое сердце квартала, пустовал – все были еще на пляже или в бассейне клуба «Террасас». «Ты точно пойдешь в “Леуро”? – переспросил Альберто. «Да. Если ничего не случится, то да». «Что может случиться?» «Ну, не знаю, – серьезно сказала она, – землетрясение, к примеру». «Мне нужно кое-что сказать тебе в кино», – сказал Альберто, глядя ей в глаза. Элена заморгала и как будто удивилась. «Надо кое-что сказать? А что?» «В кино скажу». «А почему не сейчас? Лучше все делать как можно раньше». Он сделал усилие, чтобы не залить краской. «Ты сама знаешь, что я хочу тебе сказать». «Нет, – она еще сильнее удивилась, – даже не представляю». «Если хочешь, могу сейчас сказать». «Отлично, – сказала она, – давай, решайся».

«А сейчас мы выйдем, а потом свисток, построимся и шагом марш в столовку, раз-два, раз-два, поедим среди пустых столов, выйдем в пустой двор, разбредемся по пустым казармам, и кто-нибудь крикнет: «Посоревнуемся?», а я отвечу: «Мы уже у Черенка посоревновались, Удав выиграл», всегда выигрывает Удав, и в следующую субботу тоже выиграет Удав, и дадут отбой, и мы будем спать, и наступит воскресенье, и понедельник, и вернутся те, кто ходил в увольнение, и мы купим у них сигарет, и я заплачу им рассказиками или письмами». Альберто и Раб лежали на соседних койках в пустой казарме. Удав и остальные штрафные только что ушли в «Перлиту». Альберто смолил бычок.

– Так и до конца года затянуться может, – сказал Раб.

– Ты о чем?

– О том, что нас не выпускают.

– Чего ты, блин, заладил опять? Молчи или спи. Ты не единственный штрафной.

– Знаю. И мы все можем тут засесть до самого Нового года.

– Да, – согласился Альберто, – если только Каву не накроют. А кто ж его накроет?

– Это нечестно, – сказал Раб. – Сам-то он каждую неделю ездит в город как ни в чем не бывало. А мы тут мыкаемся из-за него.

– Жизнь – штука мерзкая, – сказал Альберто, – Нету справедливости.

- Сегодня месяц, как я в увольнении не был. Никогда так долго не сидел.
- Мог бы и привыкнуть уже.
- Тереса мне не отвечает. Я ей уже два письма отправил.
- На что она тебе сдалась? На свете полно баб.
- А мне эта нравится. Остальные меня не интересуют. Понимаешь?
- Еще как понимаю. Это значит – каюк тебе.
- Знаешь, как я с ней познакомился?
- Нет. Откуда мне знать?
- Она каждый день проходила мимо моего дома. Я смотрел в окно и иногда с ней здоровался.
- Дрочил на нее?
- Нет. Просто мне нравилось на нее смотреть.
- Романтично.
- И однажды я вышел из дома и стал ждать ее на углу.
- Ущипнул ее небось?
- Я подошел и протянул руку.
- И что сказал?
- Представился. Спросил, как ее зовут. И сказал: «Очень приятно с вами познакомиться».
- Вот лох. А она что?
- Тоже представилась.
- Целовались?
- Нет, я и на свидании-то с ней ни разу не был.
- Бздишь по нотам. Ну-ка, поклянись, что не целовались.
- Чего ты взъелся-то?
- Ничего. Не люблю, когда мне врут.
- С чего бы я стал врать? Думаешь, мне не хотелось ее поцеловать? Но я с ней и не виделся толком – так, раза три-четыре постоял на улице. Из-за этого чертового училища не смог с ней встречаться. Может, она уже кого-то себе нашла.
- Кого?
- Да кого угодно. Она красивая.
- Ну уж. По мне так, скорее, страшненькая.
- А по мне, красавица.
- Чудик. Мне нравятся такие, с которыми хочется переспать.
- Я, кажется, ее люблю.
- Сейчас зарыдаю от умиления.
- Если бы она дождалась, когда я окончу училище, я бы на ней женился.
- Сдается мне, она бы тебе рога наставляла. Но дело, конечно, твое. Если хочешь, буду у тебя свидетелем.
- Почему это ты так решил?
- У тебя лицо, как у типичного рогоносца.
- Может, до нее мои письма не дошли.
- Может, и не дошли.
- Почему ты не захотел написать за меня? На этой неделе вот уже скольким написал.
- По кочану.
- Не понимаю я, чего ты на меня злишься.
- Бесит здесь сидеть. Или ты думал – ты один такой несчастный?
- Зачем ты поступил в Леонсио Прадо?
- Альберто издал смешок. Потом сказал:

– Чтобы спасти честь семьи.
– Нет, серьезно?
– Я серьезно и говорю, Раб. Отец сказал, я запятнал семейные традиции. И запихнул меня сюда, чтоб я исправился.
– А чего же ты тогда вступительные нарочно не завалил?
– Из-за девушки. Разочаровался, понимаешь? И решил, что лучше сгнию в этом свинарнике, из-за разочарования и из-за семьи.
– Ты был в нее влюблен?
– Она мне нравилась.
– Красивая была?
– Да.
– Как ее звали? Что случилось?
– Элена. Ничего не случилось. Не люблю про себя рассказывать.
– Я же тебе про себя рассказываю.
– Ты сам захотел. Не хочешь – можешь ничего не рассказывать.
– У тебя сигареты есть?
– Нет. Но сейчас достанем.
– У меня ни сентаво.
– У меня есть два соля. Вставай и пошли к Паулино.
– Надоела мне «Перлита». А от Удава и Черенка воротит.
– Тогда спи давай. А я пойду.
Альберто поднялся. Раб смотрел, как он надевает пилотку и поправляет галстук.
– Сказать тебе кое-что? – сказал Раб. – Я знаю, ты надо мной посмеешься. Но мне все равно.

– Ну, валяй.
– Ты мой единственный друг. У меня раньше не было друзей, одни знакомые. Я имею в виду, в городе – здесь и знакомыми-то никого не назовешь. Ты единственный человек, с которым мне нравится проводить время.

– Какое-то голубое признание в любви, – сказал Альберто.

Раб улыбнулся.

– Дурак ты, – сказал он, – но человек хороший.

Альберто вышел. В дверях он обернулся и сказал:

– Если раздобуду курева, принесу тебе штуку.

Во дворе было сыро. Пока они разговаривали в казарме, прошел дождь, а Альберто и не заметил. Вдали на траве сидел кадет. Интересно, это тот же самый, что стоял на стреме в прошлую субботу? «А сейчас я зайду к Черенку, и мы устроим соревнование, и Удав выиграет, и опять этот запах, и мы выйдем в пустой двор и разбредемся по казармам, и кто-нибудь скажет: «Посоревнуемся?» – а я отвечу: «Мы уже посоревновались у Паулино, и Удав выиграл», и в следующую субботу тоже выиграет Удав, и дадут отбой, и мы уснем, и наступит воскресенье, и понедельник, и кто знает сколько еще недель».

VI

Одиночество и унижения, знакомые ему с детства и ранившие дух, были вполне терпимы – невыносимым оказалось заточение, великое отчуждение от жизни, которого он не выбирал, а просто вдруг оказался в нем, как в смиренной рубашке. Он стоял перед комнатой лейтенанта, но еще не успел поднять руку и постучать. Однако знал, что найдет в себе силы – решение заняло три недели, и теперь ему не было ни страшно, ни тоскливо. Подводила рука: мягко, вяло болталась у брючины, словно дохлая. Не впервой. В Салезианской школе его дразнили

«куклой»: он всего стеснялся и робел. «Рев, рев, кукла», – орали одноклассники на перемене и брали его в кольцо. Он отступал, пока не упирался спиной в стенку. Лица приближались, вопли становились оглушительнее, рты разевались, словно пасти, готовые к укусу. Он плакал. И однажды сказал себе: «Надо что-то делать». В середине дня вышел драться против главного задиры класса – он забыл его фамилию и лицо, меткие кулаки и тяжелое дыхание. Стоя перед ним на задворках школы, в кругу возбужденных зрителей, он, как и сейчас, не боялся и даже не волновался – просто был бесконечно подавлен. Его тело не отвечало на удары, не уходило от них, – пришлось ждать, пока противник не устанет его бить. Он постарался хорошо сдать вступительные экзамены в Леонсио Прадо и терпел двадцать четыре долгих месяца как раз для того, чтобы наказать это трусливое тело и одолеть его. Но теперь он уже не надеялся – ему никогда не стать таким, как Ягуар, который берет насилием, и даже таким, как Альберто, способный раздвоиться, притвориться другим, чтобы не стать жертвой. Его раскусили сразу, поняли, какой он на самом деле – беззащитный, слабый, раб. Сейчас он желал одного – свободы, чтобы распоряжаться своим одиночеством, лелеять его, сводить его в кино, запереться где-нибудь с ним наедине. Он поднял руку и трижды постучал.

Лейтенант Уарина, кажется, только проснулся. Опухшие глаза напоминали два больших волдыря на круглом лице. Волосы всклокочены, взгляд затуманен.

– Я хотел поговорить с вами, господин лейтенант.

Ремихио Уарина среди лейтенантов занимал то же положение, что Раб среди кадетов: человек не на своем месте. Он был мелкий, хилый, его команды всех смешили, приступы гнева никого не пугали, сержанты сдавали ему донесения, не вытягиваясь по стойке смирно, смотрели с презрением: его рота вечно оказывалась хуже всех, капитан Гарридо отчитывал его на людях, кадеты рисовали его на стенках – со спущенными штанами, за рукоблудием. Поговаривали, что в Верхнем Городе у него есть лавочка, где его жена торгует печеньем и конфетами. Зачем он пошел в военные?

– В чем дело?

– Можно войти? Дело серьезное, господин лейтенант.

– Хотите записаться на прием? Тогда следуйте процедуре.

Не одни кадеты подражали лейтенанту Гамбоа: упомянув правила, Уарина постарался встать точно так же, как он. Но кого обманешь, если у тебя маленькие ладошки, нелепые усы, а на носу болтается какая-то черная крошка?

– О том, что я собираюсь сообщить, никто не должен знать, господин лейтенант. Это очень важно.

Лейтенант отодвинулся от двери, Раб зашел. Постель была смята. Рабу на ум пришли монастырские кельи: они, наверное, похожи на эту комнату – голые, темные, немного зловещие. На полу стояла полная пепельница, один окурок дымился.

– Так в чем дело? – нетерпеливо повторил Уарина.

– Это насчет стекла.

– Фамилия, взвод, – быстро проговорил лейтенант.

– Кадет Рикардо Арана, пятый курс, первый взвод.

– Что насчет стекла?

Теперь струсил язык: он отказывался шевелиться, высох, стал похож на шершавый камень. Значит, так работает страх? Круг поизмывался над ним вдоволь: хуже всех, если не считать Ягуара, был Кава – отбирал сигареты, однажды помочился на него, пока он спал. В каком-то смысле он имел право на донос: в училище все уважали месть. И все же на душе скребли кошки. «Я предам не Круг, – подумалось ему, – а весь курс, всех кадетов».

– Ну, так что? – раздраженно сказал Уарина. – Вы пришли паяльничком на меня? Давно не видели?

– Это был Кава, – выпалил Раб и опустил глаза: – Можно мне будет в увольнение в субботу?

– Что? – лейтенант не понял. Еще оставалось время наплевистить чего-нибудь и сбежать.

– Кава разбил стекло, – сказал Раб, – и выкрал вопросы по химии. Я видел, как он бежал к учебному корпусу. Нас отпустят в увольнение?

– Нет, – сказал лейтенант. – Посмотрим. Сперва повторите.

Лицо Уарины сильнее округлилось, на щеках, у уголков губ, возникли подрагивающие складки. Выглядел он довольным. Раб успокоился. Училище, увольнение, будущее перестали его волновать. Он мысленно отметил, что благодарности Уарина не выказывает. Но этого и следовало ожидать – в конце концов, они из разных миров, и лейтенант его, скорее, презирает.

– Пишите, – сказал Уарина. – Прямо сейчас. Вот вам бумага и карандаш.

– Что писать, господин лейтенант?

– Я продиктую. «Я видел, как кадет – как его, говорите? – Кава из такого-то взвода в такой-то день в такой-то час проник в учебный корпус, чтобы неправомерно завладеть заданиями по химии». Понятно пишите. «Делаю настоящее заявление по просьбе лейтенанта Ремихо Уарины, который раскрыл преступление и факт моего участия...»

– Господин лейтенант, я не...

– «...моего невольного участия в нем в качестве свидетеля». Напишите свою фамилию печатными буквами. Крупно.

– Я не видел кражи, господин лейтенант, – сказал Раб, – я только видел, как он бежит к классам. Я четыре недели не был в увольнении, господин лейтенант.

– Не переживайте. Я всем займусь. Не бойтесь.

– Я не боюсь, – выкрикнул Раб. Лейтенант изумленно вскинулся: – Я четыре недели не был в городе, господин лейтенант. В субботу будет пять.

Уарина кивнул.

– Подпишите. Сегодня даю вам разрешение выйти в город после занятий. До одиннадцати.

Раб подписал. Лейтенант лихорадочно забегал глазами по строчкам, зашевелил губами.

– Что ему за это будет? – спросил Раб. Вопрос был идиотский, он и сам это знал, но нужно было что-то сказать. Лейтенант осторожно держал листок кончиками пальцев, чтобы не смять.

– Вы докладывали об этом лейтенанту Гамбоа? – на миг оживление покинуло его оплывшее лицо с жалкими усиками, – он с тревогой ждал ответа Раба. Одно простое «да» – и радость Уарины погаснет, приосанившийся победитель поникнет. Легче легкого.

– Нет, господин лейтенант. Никому не докладывал.

– Отлично. Никому ни слова. Ждите моих указаний. После занятий подойдите ко мне в выходной форме. Я проведу вас через пост.

– Так точно, господин лейтенант, – Раб поколебался и добавил: – Я бы не хотел, чтобы остальные кадеты узнали...

– Мужчина, – сказал Уарина и стал смирно, – должен нести ответственность за свои поступки. Это первое, чему учит армия.

– Да, господин лейтенант. Но если они узнают, что я его выдал...

– Знаю, – сказал Уарина, в четвертый раз пробегая листок глазами, – в порошок сотрут. Но не переживайте. Совет офицеров всегда – дело конфиденциальное.

«Может, меня тоже исключат», – подумал Раб. Он вышел от Уарины. Вряд ли его кто-нибудь видел на пути сюда – после обеда все валялись на койках или в траве на стадионе. На пустыре он заметил викуню: стройная, неподвижная, она к чему-то принюхивалась. «Печальное животное», – подумалось ему. Он сам себе удивлялся: по идее ему полагалось испытывать возбуждение или ужас, словом, какое-то расстройство чувств после доноса. Он всегда считал, что преступники, совершив убийство, впадают в некое смятение, как будто их гипнотизируют.

Он ощущал лишь безразличие. «Я пробуду в городе шесть часов. Поеду к ней, но ей рассказать нельзя». Если бы было с кем поговорить! Если бы нашелся кто-то, кто понял или хотя бы выслушал! Альберто не доверился. Мало того, что он отказался написать письмо для Тересы, так еще и постоянно подкалывал его в последние дни – правда, всегда наедине, а перед друзьями защищал, – как будто на что-то обиделся. «Некому открыться, – подумал он. – Почему кругом одни враги?»

Когда он вошел в казарму и увидел Каву, стоящего у шкафчика, у него только слегка задрожали руки. «Если он на меня посмотрит – сразу догадается, что я его слил».

– Что это с тобой? – спросил Альберто.

– Ничего. А что?

– Бледный весь. Дуй в медпункт, может, положат.

– Да я нормально себя чувствую.

– Неважно. Пока штрафной, отлежаться – самое то. Вот бы мне так сблестнуть. Там и кормят хорошо, и в потолок плюй хоть целый день.

– Зато в город не выйти.

– Какой город? Нам тут еще куковать и куковать. Хотя, может, в воскресенье всех и отпустят. У полковника день рождения. По крайней мере, слухи ходят. Чего ржешь?

– Ничего.

И как только Альберто может так спокойно говорить об их заточении? Как он свыкся с мыслью, что заперт?

– Если только самоходом, – сказал Альберто. – Из изолятора даже легче. Ночью там никто не дежурит. Но лезть придется со стороны набережной. Еще насадишься на решетку, как шашлычок.

– Теперь редко кто в самоволку ходит, – сказал Раб. – С тех пор, как патрули завели.

– Раньше было проще. Но и сейчас бывает. Индеец Уриосте ходил в понедельник, вернулся в четыре утра.

А почему бы, собственно, и не в медпункт? Что он забыл в городе? Доктор, у меня темнеет в глазах, у меня болит голова, у меня мандраж, холодный пот, я трус. Все оштрафованные кадеты мечтали попасть в изолятор. Там можно было целый день валяться в пижаме, и на еду никто не скупился. Но фельдшеры и врач в последнее время закрутили гайки. Жар больше не являлся поводом: если приложить ко лбу на пару часов банановую кожуру, температура подскакивает до тридцати девяти – это все выучили. Номер с гонореей тоже не проходил с тех пор, как Ягуар и Кучерявый явились в медпункт, вымазав все, что нужно, сгущенным молоком, и их раскусили. Тот же Ягуар выдумал способ нагнать сердцебиение. Если несколько раз подряд до слез задержать дыхание перед осмотром, сердце начинает стучать, как бешеное. Фельдшеры писали: «Госпитализация с симптомами тахикардии».

– Я никогда в самоволку не ходил, – сказал Раб.

– Это меня не удивляет, – сказал Альберто. – Я несколько раз ходил, в прошлом году. Один раз мы с Арроспиде сбежали на вечеринку в Ла-Пунте и вернулись перед самым подъемом. На четвертом было повеселее.

– Поэт, – заорал Вальяно, – ты учился в школе Ла Салье?

– Ага. А что?

– Кучерявый говорит, в Ла Салье все пидарасы. Правда, что ли?

– Нет, – сказал Альберто, – негров там не было.

Кучерявый заржал.

– Попал ты, – сказал он Вальяно, – Поэт тебя натянет.

– Я, может, и негр, зато всем мужикам мужик, – заметил Вальяно. – Кто желает проверить – милости просим!

– Тоже мне напугал, – сказал кто-то. – Ой, мамочки!

- Ох, ох, ох, – запел Кучерявый.
- Раб! – крикнул Ягуар. – Давай ты проверяй. Потом расскажешь, брешет негр или нет.
- Раба я пополам порву, – сказал Вальяно.
- Ой, мамочки.
- И тебя тоже, – заорал Вальяно. – Рискни здоровьем! Я уже готов.
- Чего такое? – хрипло спросил Удав. Он только что проснулся.
- Негр говорит, ты пидор, – сказал Альберто.
- Да, говорит, ему точно про твою пидорскую природу известно.
- Так прямо и сказал.
- Целый час про тебя распинаясь.
- Врут, братушка, – сказал Вальяно. – Думаешь, я за глаза на людей наговариваю?
- Вся казарма веселилась.

– Они над тобой прикалываются, – продолжал Вальяно. – Не понимаешь, что ли? – и повысил голос: – Еще один такой прикол, Поэт, и я тебя уделаю. Я предупредил. Чуть из-за тебя не пересрались с парнем.

- Ох, – сказал Альберто, – слышал, Удав? Парнем тебя назвал.
- Чего-то хотел от меня, негр? – спросил хриплый голос.
- Ничего, братушка, – ответил Вальяно, – мы с тобой друзья.
- Тогда не хрен меня парнем называть.
- Я тебе морду набью, Поэт, точно говорю.
- Негр, который лает, не кусает, – сказал Альберто.

Раб подумал: «В глубине души все они друзья. Обзывают друг дружку, ссорятся, но на самом деле им вместе хорошо. И только я один здесь чужой».

«Ноги у нее были толстые, белые и безволосые. Смачные, хотелось их кусать». Альберто перечитал фразу, прикидывая ее эротический потенциал, и остался доволен. Солнце сквозь замызганные окна беседки попадало на него, лежащего на полу. На одну руку он опирался подбородком, во второй держал карандаш над наполовину исписанным листком. Здесь же, на пыльном, засыпанном окурками и горелыми спичками полу, валялись другие листки, пустые и исписанные. Беседку возвели одновременно с училищем, в маленьком саду, где еще имелся бассейн, замшелый и неизменно пустой, над которым тучей висели комары. Никто, включая, несомненно, самого полковника, не знал, зачем нужна эта беседка с узкой кривой лестницей, вознесенная на двухметровую высоту четырьмя бетонными колоннами. Вероятно, ни один офицер или кадет не бывал внутри до тех пор, пока Ягуар не умудрился открыть запертую дверь специальной отмычкой, в изготовлении которой участвовал весь взвод. Уединенная беседка обрела назначение: служить убежищем тем, кто вместо занятий желал вздремнуть. «Вся комната дрожала, как во время землетрясения. Она стонала, рвала на себе волосы, умоляла: «Хватит, хватит!» – но он не отпускал ее. Неугомонной рукой он исследовал все ее тело, царапал, входил в нее. Когда она умолкла, словно мертвая, он расхохотался, и его смех напоминал зов зверя». Он закусил кончик ручки и перечитал с начала листка. Добавил еще одно предложение: «Она подумала, что укусы в самом конце понравились ей больше всего, и с радостью вспомнила, что завтра он вернется к ней». Альберто окинул взглядом заполненные голубыми словами листки: меньше чем за два часа – четыре рассказика. Неплохо. До свистка к концу занятий еще несколько минут. Он перевернулся, коснулся затылком пола и так лежал, вялый, мягкий: ослабевшее солнце грело, но не слепило.

Он пришел после обеда. Вся столовая вдруг вспыхнула, и надоедливый гул разом смолк: полторы тысячи голов обернулись к пустырю: действительно, трава зазолотилась, а здания отбрасывали тени. С тех пор как Альберто поступил в училище, он впервые увидел солнце в октябре. И сразу же подумал: «Пойду в беседку писать». На построении шепнул Рабу: «Будет

перекличка – ответишь за меня», а когда дошли до учебного корпуса, юркнул в уборную, как только офицер отвлекся. Все разошлись по классам, а он дунул в беседку. В один присест написал четыре рассказика по четыре страницы, и только на последнем навалилась лень, тяжесть, захотелось выпустить ручку и думать о всякой всячине. У него давно кончились сигареты, и он попробовал курить перекрученные бычки с пола беседки, но после пары затяжек закашлялся – табак от времени и пыли затвердел.

«Прочитай-ка еще разок, Вальяно, прочитай вот этот, последний, моя бедная покинутая мама думает, наверное, как там ее сынок со всем этим индейским отребьем, но в те времена было не страшно оказаться в самой гуще и слушать «Услады Элеодоры», давай еще раз, Вальяно, крещение кончилось, в увольнение сходили, вернулись, а ты оказался самый жук, протасил в портфеле «Элеодору», а я только жратвы, дурень, да если б я знал». Пацаны сидят на койках или у шкафчиков и заворуженно слушают, как Вальяно жарким голосом читает. Иногда он умолкает и, не поднимая глаз от книги, ждет: немедленно поднимается гвалт, волна возмущения. «Повтори-ка, Вальяно, у меня тут начинает вырисовываться мыслишка, как и время приятно провести, и подзаработать, а мама все выходные напролет молится, просит всех святых, он ведь нас всех утянет за собой по дурной дорожке, моего отца околдовали элеодоры». Прочитав несколько раз подряд малюсенькую книжонку с пожелтевшими страницами, Вальяно убирает ее в карман куртки и обводит высокомерным взором снедаемых завистью однокашников. Наконец один осмеливается: «А одолжи книжку». Пять, десять, пятнадцать человек бросаются к нему, крича наперебой: «Одолжи книжку, черномазенький, дружище». Вальяно широко улыбается, открывает огромный рот, живые глаза пляшут, ликуют, ноздри трепещут, вид у него победоносный, вся казарма осаждает его, заискивающе лопочет, выслуживается. Он издевается над остальными: «Онанисты сраные, а Библия с «Дон Кихотом» чем вам не угодили?» Все с готовностью смеются, похлопывают его по плечу, приговаривают: «Молодец ты, негритосик, за словом в карман не лезешь». И вдруг до Вальяно доходит, какие возможности открываются перед ним: «Сдаю напрокат». На него обрушиваются тычки, ругательства, кто-то харкает, кто-то орет: «Торгаш шелудивый!» Вальяно хохочет, растягивается на койке, достает из кармана «Услады Элеодоры», злорадно раскрывает и делает вид, будто читает, сладострастно шевеля пухлыми губами. «Пять сигарет, десять, Вальяно-негрито, одолжи почитать – лысого погонять, так и знал, что первым Удав запросит, больно ласково он почесывал Недокормленную, пока Вальяно читал, а та подскуливает и лежит спокойно, все, надумал, отличный план, приятное с полезным, у меня и идей куча, надо только удобного случая дожидаться». Альберто видит, что сержант идет к партам, и краем глаза подмечает: Кучерявый погружен в чтение – книга приставлена к спине сидящего перед ним; наверняка еле разбирает, шрифт там мелкий-премелкий. Альберто не может предупредить Кучерявого об опасности: сержант не сводит с него глаз и крадется к добыче, как тигр, – тут ни ногой, ни локтем не пошевелишь. Сержант изготовился, прыгает, выхватывает «Услады Элеодоры» у завопившего Кучерявого. «Но не надо было ее жечь и топтать ногами, не надо было из дому уходить к шлюхам, не надо было маму бросать, не надо нам было уезжать из хором с садом на Диего Ферре, не надо было становиться своим в том квартале и знаться с Эленой, не надо было штрафовать Кучерявого на две недели, не надо было даже начинать писать рассказики, не надо было уезжать из Мирафлореса, не надо было знакомиться с Тересой и влюбляться в нее». Вальяно смеется, но не может скрыть разочарование, тоску, горечь. «Блин, я ж ее любил, Элеодору-то. Кучерявый, я из-за тебя любимую женщину потерял». Все заводят: «Ох, ох, ох», выгибаются, будто стриптизерши, щиплют Вальяно за щеки и за задницу, Ягуар срывается с места, хватает Раба, поднимает в воздух, – все замолчали и смотрят, – швыряет прямо на Вальяно: «Дарю сучку». Раб встает, отряхивается, уходит. Удав набрасывается на него со спины, тоже поднимает, от усилия весь краснеет, шея вздувается, через пару секунд он роняет Раба, как тюфяк. Раб медленно хромает прочь. «Блин, – говорит Вальяно, – я прямо в трауре». И тогда я сказал, за полпачки курева напишу

тебе рассказ получше этих «Услад», и в то утро я узнал, что произошло, то ли мысль передается на расстоянии, то ли божественное провидение, узнал и спросил, а что такое с папой, мам, а Вальяно сказал, серьезно? бери бумагу, карандаш, и да пошлют тебе вдохновение ангелы, а она сказала, мужайся, сынок, страшное горе постигло нас, он низко пал, бросил нас, и тогда я начал писать, сидя верхом на шкафчике, и весь взвод стоял вокруг, как когда Вальяно читал вслух». Нервным почерком Альберто выводит фразу, полдюжины человек заглядывают ему через плечо, силится прочесть. Останавливается, отнимает карандаш от бумаги, поднимает голову, читает: хвалят, некоторые вносят предложения, но он их отвергает. По мере работы он смелеет: грубые слова уступают изощренным эротическим аллегориям, но набор действий по-прежнему незатейливый, повторяющийся: предварительные ласки, любовь традиционная, анальная, оральная, ручная, экстаз, содрогания, ожесточенные сражения между вздыбленными органами, и по новой – предварительные ласки и так далее. Дописав – вышло десять тетрадных листков, заполненных с обеих сторон, – Альберто в приступе вдохновения объявляет заголовков: «Пороки плоти» и бодро зачитывает рассказ. Казарма почтительно слушает, изредка выдавая остроты. Потом все аплодируют и лезут его обнимать. Кто-то говорит: «Фернандес, да ты поэт». «Точно, – поддакивают остальные, – поэт». «И в тот же день, когда мы умывались, подошел Удав, весь из себя загадочный, и говорит, напиши мне еще один такой, я куплю, вот умница, онанюга ты мой, первый клиент, я тебя не забуду, ты, правда, возбуж, когда я сказал, пятьдесят сентаво за страницу сплошного текста, но смирился с судьбой, и мы переехали, и вот тогда я действительно отдалился от квартала и от друзей, и вообще от Мирафлореса, и начал карьеру романиста и неплохо заработал, хотя, бывало, и нагревали».

Воскресенье, середина июня. Альберто сидит на траве и смотрит на кадетов, которые прогуливаются по плацу в окружении родственников. В нескольких метрах от него сидит мальчишка, тоже третьекурсник, из другого взвода. С озабоченным видом он читает и перечитывает письмо. «Дневальный?» – спрашивает Альберто. «Ага», – говорит мальчишка и показывает фиолетовую повязку с вышитой буквой «Д». «Это хуже, чем штрафной», – говорит Альберто. «Точно», – соглашается дневальный. «А потом мы пошли к нему в шестой взвод, прилегли, выкурили по «Инке», и он сказал: я из Ики, папаша отправил меня в военное училище, потому что я влюбился в девушку из плохой семьи, и показал мне фотографию и сказал, как только закончу, женюсь на ней, и в тот же день она перестала краситься и надевать украшения и встречаться с подругами, и играть в канасту, и каждую субботу мне казалось, что она еще сильнее постарела».

– Ты что, ее разлюбил? – удивляется Альберто. – Чего у тебя такое лицо становится, когда ты про нее говоришь?

Дневальный отвечает тихо и как бы самому себе:

– У меня просто не получается ей написать.

– Почему?

– Как почему? Не получается, и все. Она очень умная. Такие письма хорошие мне шлет.

– Написать письмо проще простого, – говорит Альберто. – Ничего проще не бывает.

– Нет. Иногда знаешь, что хочешь сказать, а написать про это не можешь.

– Да ну. Я за час десять любовных писем могу накатать.

– Правда? – с интересом спрашивает дневальный, пристально глядя в лицо Альберто.

«И я написал, а потом еще одно, и она мне отвечала, а дневальный мне покупал сигареты и колу в «Перлите», и однажды он привел мне одного самбо из восьмого взвода и говорит, можешь написать телочке, которая у него в Икитосе осталась? А я ей сказал, хочешь, я схожу поговорю с ним, а она ответила, ничего не поделаешь, остается только молиться, и начала ходить к мессе и на молебны и поучать меня, Альберто, будь благочестив, люби Господа, не то,

когда вырастешь, впадешь в соблазн и загубишь свою душу, как твой отец, и я сказал, ладно, но за деньги».

Альберто подумал: «Два года уже прошло. Как время летит». Закрыв глаза, вспомнил лицо Тересы, все тело заныло в тревоге. Он впервые так легко переживал отсутствие увольнений. Даже после двух писем, полученных от Тересы, в город не тянуло. «Она пишет на дешевой бумаге, и почерк у нее не очень. Я читал письма и получше». Он перечитывал их несколько раз, всегда тайком (прятал в подкладке фуражки, как сигареты, которые приносил из города по воскресеньям). Получив первое письмо, собирался немедленно ответить, но, когда вывел на листке дату, смешался, почувствовал себя как-то неприятно и не придумал, что сказать. Все выходило фальшиво и бессмысленно. Разорвав несколько черновиков, наконец решил ограничиться парой сдержанных строк: «Нас лишили увольнений из-за одного дела. Не знаю, когда выберусь в город. Меня очень обрадовало твое письмо. Я все время думаю о тебе и, как только меня выпустят, сразу же приеду». Раб слонялся за ним по пятам, угощал сигаретами, фруктами, бутербродами, делился мыслями; в столовой, в строю, в кино всегда умудрялся оказаться рядом. Он вспомнил бледное лицо Раба, покладистое выражение, блаженную улыбку и возненавидел его. Всякий раз, когда тот приближался, Альберто становилось тошно. Разговор так или иначе сводился к Тересе, и приходилось выкручиваться, выставя себя таким циником или, наоборот, осыпая Раба дружескими советами: «Не надо признаваться в любви в письме. Такие вещи делаются лицом к лицу, чтобы видеть реакцию. В первое же увольнение пойдешь и откроешься». Раб с томным видом слушал, серьезно кивал, не спорил. Альберто подумал: «Скажу ему, когда нас отпустят. Как только окажемся на улице. Дурак дураком ходит, хватит уже ему лапшу вешать. Скажу: ты прости, но мне эта девушка очень нравится. Попробуешь к ней сунуться – морду набью. В мире полно баб. А потом поеду к ней и отведу ее в парк Некоча» (тот, что в конце Резервной набережной в Мирафлоресе, над отвесными охряными утесами, о которые шумно и неустанно бьется море; зимой на краю парка можно сквозь туман различить призрачный пейзаж: одинокий, тонущий в глубине каменистый берег). «Сядем на последней скамейке, у белых деревянных перил». Солнце нежило лицо и тело, не хотелось открывать глаза, чтобы картинка не уплыла.

К тому времени, как он проснулся, солнце ушло, и свет вокруг был коричневатый. Он пошевелился: позвоночник заныл. Голова отяжелела – неудобно спать на деревянном полу. Мозг спросонья отказывался работать, встать не получалось, Альберто поморгал, пожалел, что нет сигарет, наконец неуклюже поднялся и огляделся. В саду было пусто. В бетонном здании учебного корпуса тоже не наблюдалось признаков жизни. Интересно, сколько сейчас времени? Ужин в половине восьмого. Он внимательнее всмотрелся в окрестности. Училище будто вымерло. Он спустился вниз из беседки, перешел сад, оставил позади учебный корпус, никого не встретив. Только подходя к плацу, заметил кадетов, гонявших викуню. На другом конце плаца вроде бы маячили зеленые куртки – несколько человек парами бродили по двору. Казармы гудели. Отчаянно хотелось курить.

Во дворе пятого курса он остановился и направился к зданию гауптвахты. Среда – может, письма какие пришли. Кучка кадетов загоразивала дверь.

– Я пройду. Меня дежурный офицер вызывал.

Никто не сдвинулся с места.

– В очередь, – сказал один.

– Да я не за почтой. Я к офицеру.

– Обломись. Тут очередь.

Пришлось ждать. Когда кто-нибудь выходил, очередь начинала колыхаться, каждый норовил пролезть вперед. Альберто рассеянно читал прищипленную к двери бумагу: «Пятый курс. Дежурный лейтенант: Педро Питалуга. Сержант: Хоакин Мorte. Личный состав. В строю: 360. Помещены в изолятор: 8. Особое распоряжение: с дежуривших 13 сентября снимается

запрет на увольнения. Подпись: капитан курса». Он перечитал последнюю часть во второй раз, в третий. Громко выругался. Из-за двери раздался сварливый голос сержанта Песоа:

– Кто там язык распустил?

Альберто бросился в казарму. Сердце выпрыгивало из груди. В дверях столкнулся с Арроспиде.

– Увольнения вернули! – прокричал он. – Капитан свихнулся.

– Нет, – сказал Арроспиде. – Ты что, не знаешь? Кто-то слил Каву. Он под арестом.

– Что?! Каву сдали? Кто сдал?

– Ну, – протянул Арроспиде, – рано или поздно узнаем.

Альберто вошел в казарму. Как всегда, когда происходило что-то важное, обстановка изменилась. Стук шагов неприлично громко раздавался в замершем помещении. Множество глаз следило за Альберто. Он прошел к своей койке. Поискал взглядом: ни Ягуара, ни Кучерявого, ни Удава. На соседней койке Вальяно листал учебник.

– Уже знают, кто сдал? – спросил Альберто.

– Узнают. Обязательно узнают еще до того, как Каву отчислят.

– А где остальные?

Вальяно кивнул в сторону уборной.

– Засели там. Не знаю, что делают.

Альберто поднялся и прошел к койке Раба. Койка пустовала. Толкнул дверь уборной, ощущая спиной, что на него смотрит весь взвод. Они сидели на корточках в углу, Ягуар посередине. Уставились на него.

– Тебе чего? – сказал Ягуар.

– Пописать можно, я надеюсь?

– Нет, – сказал Ягуар. – Вали.

Альберто отступил и опять вернулся к койке Раба.

– Где он?

– Кто? – спросил Вальяно, не отрываясь от учебника.

– Раб.

– В город поехал.

– Чего?

– После занятий.

– В город? Точно?

– Куда еще-то? У него мать вроде заболела.

«Ну, стукач, врун, а я как знал, куда он еще с такой рожей мог отправиться, может, мать и умирает, а если я сейчас зайду и скажу Ягуару, Раб вас слил, можете не вставать, он в увольнении, наплеет всем, будто мать заболела, но ничего, время быстро идет, возьмите меня в круг, я тоже хочу отомстить за индейца Каву». Но лицо Кавы растворяется в дымке, стирающей и Круг, и прочих кадетов в казарме, а потом и ее саму поглощает другая дымка, и возникает другое, никлое лицо, сияющее улыбнуться. Альберто идет к койке, ложится. Шарит по карманам, находит только пару крошек табака. Чертыхается. Вальяно на секунду отрывается от книги и окидывает его взглядом. Альберто закрывает лицо рукой. Сердце лопається от волнения, нервы под кожей натянуты до предела. Приходит смутная мысль: кто-то может догадаться, какой ад творится у него на душе. В целях конспирации громко зевает. И тут же думает: «Вот я дурак». «Ночью он меня разбудит, а я как знал, что он такую рожу состроит, прямо вижу его, будто он уже пришел, будто уже сказал мне, ах ты гад, в кино, значит, ее водил, письма, значит, ей пишешь, и она тебе пишет, а мне ни полслова, а я тебе все про нее да про нее, так ты поэтому позволял, чтобы, не хотел, чтобы, говорил, чтобы, ну да он не успеет ни рта раскрыть, ни разбудить меня, потому что прежде, чем он меня тронет или подойдет сюда, я налечу на него, повалю на пол и стану мочить безжалостно и закричу, вставайте, я поймал стукача сраного,

который Каву сдал». Ощущения переплетаются, а над казармой по-прежнему висит противная тишина. Если приоткрыть глаза, в узкую щелку между рукавом рубашки и телом видны кусок окна, потолок, почти черное небо, отсвет фонарей на плацу. «Может, он уже там, вышел из автобуса, идет по улицам Линсе, пришел к ней, признается в любви, рожа эта его, хоть бы не возвращался, а ты, дорогуша, оставайся в этом своем доме на Камфарной, я тебя тоже брошу и уеду в Штаты, никто про меня и знать ничего не будет, но сначала, клянусь, раздавлю его, как червяка, и всем скажу, поглядите, во что превратился наш стукач, понюхайте, потрогайте, пощупайте, поеду в Линсе и скажу ей, дешевка ты несчастная, как раз под стать стукачу, которого я только что изуродовал». Он весь напрягся на узкой скрипящей койке, взгляд сверлит верхний матрас, который, кажется, вот-вот прорвет ромбики проволочной сетки, рухнет на Альберто и раздавит его.

– Который час? – спрашивает он у Вальяно.

– Семь.

Альберто встает и выходит на улицу. Арроспиде так и болтается на пороге, засунув руки в карманы, с любопытством следит, как два кадета переругиваются посреди двора.

– Арроспиде!

– Чего?

– Я ухожу.

– А мне-то что?

– Я в самоволку.

– Ну, вперед, – говорит Арроспиде, – с дежурными договаривайся.

– Не ночью, – говорит Альберто. – Мне сейчас надо. Пока все на ужин пойдут.

Теперь Арроспиде смотрит с интересом.

– Свиданка, что ли? Или вечеринка?

– Ответишь за меня на построении?

– Не знаю. Если тебя поймают, я тоже огребу.

– Да ладно, всего одно построение. Тебе только и надо-то, что доложить: «Личный состав на месте».

– Ладно. Но если вдруг еще раз построят, скажу, что тебя нет.

– Спасибо.

– Лучше иди стадионом. Дуй уже туда и прячься, сейчас свисток будет.

– Да, – говорит Альберто, – знаю.

Вернулся в казарму. Открыл шкафчик. Два соля есть – на автобус хватит. Спросил у Вальяно:

– Кто дежурит первые две вахты?

– Баэна и Кучерявый.

Баэна согласился отметить его присутствующим. Альберто пошел в уборную. Все трое по-прежнему сидели на корточках. При виде его Ягуар поднялся.

– Ты в первый раз не понял?

– Мне надо с Кучерявым парой слов перекинуться.

– С мамой своей перекинься. Пошел отсюда.

– Я в самоход. Мне надо, чтобы Кучерявый меня отметил.

– Прямо сейчас пойдешь?

– Да.

– Ладно, – сказал Ягуар. – Про Каву слыхал? Знаешь, кто его слил?

– Знал бы, уделал бы уже. За кого ты меня принимаешь? Надеюсь, не думаешь, что это я.

– Я тоже надеюсь. Ради твоего же блага.

– Стукача никому не трогать, – сказал Удав. – Я им сам займусь.

– Заткнись, – сказал Ягуар.

– Пачку «Инки» принесешь – отмечу тебя, – сказал Кучерявый.

Альберто кивнул. В дверях казармы он услышал свисток и приказ сержанта строиться. Бросился бежать, молнией пронесся по двору, меж зарождающихся рядов. Ринулся через плац, прикрывая красные нашивки руками, чтобы офицер другого курса случайно не перехватил. Батальон третьего курса уже построился. Альберто перешел на быстрый, но естественный неприметный шаг. Поравнялся с офицером курса, отдал честь – лейтенант машинально ответил. На стадионе, вдали от казарм, пришло спокойствие. Обогнул солдатский барак – слышались голоса, ругательства. Добежал до конца ограды училища, туда, где стены сходятся под прямым углом. Там еще валялись булыжники и кирпичи, пригнотившиеся другим самовольщикам. Альберто припал к земле и присмотрелся к казарменным корпусам, отделенным от него зеленым пятном футбольного поля. Он почти ничего не видел, но слышал свист – батальоны маршировали к столовой. У барака тоже никого не было видно. Не разгибаясь, он натаскал грудку камней к самой стене – получилось возвышение. А если сил не достанет подтянуться? Он всегда сбегал с другой стороны, от «Перлиты». В последний раз осмотрелся, резко выпрыгнул, взобрался на камни, поднял руки.

Поверхность стены шершавая. У Альберто получается подтянуться и заглянуть через нее: над пустыми полями почти стемнело, вдали возвышается грациозная вереница пальм на проспекте Прогресса. Через секунду перед глазами – только стена, но руки по-прежнему цепляются за край. «Богом клянусь, Раб, вот за это ответишь, при ней мне ответишь, если я сорвусь и сломаю ногу, позвонят мне домой, а если приедет мой папаша, скажу, а что такого, меня отчислили за самоволку, а ты вон из дома ушел ради шлюх, это похуже будет». Ступни и коленки льнут к неровной стене, ищут щели и выступы, карабкаются. Как обезьяна, он влезает наверх, замирает ровно настолько, чтобы выбрать плоский участок внизу. Потом прыгает, неуклюже приземляется, откатывается, зажмуривается, яростно потирает голову и коленки, садится, поводит руками, встает. Бежит через чей-то огород, топчет грядки. Ноги вязнут в мягкой почве, трава колет щиколотки. Стебельки ломаются под ботинками. «Вот идиот, любой увидит и сразу догадается, пилотка, нашивки, да это кадет, который удрал, как мой отец, а что, если пойти к Златоножке и сказать, мам, ну хватит уже, смиришься, ты совсем постарела, и религии довольно, но за это они оба ответят, и тетка, старая ведьма, сводница, швея треклятая». На автобусной остановке никого. Сразу же подъезжает автобус, Альберто еле успевает запрыгнуть. Вновь накатывает волна спокойствия: он проталкивается сквозь толпу, а снаружи, за окнами, ничего не видно, стремительно стемнело, но он знает, что автобус идет вдоль полей и огородов, мимо фабрики, мимо скопления лачуг из металлолома и фанеры, мимо арены для боя быков. «Он вошел в дом, сказал, привет, ослабил трусливо, она сказала, привет, присаживайся, вышла ведьма и давай языком трепать, называть его сеньором, потом свалила на улицу, оставила их наедине, и он сказал, я приехал, потому что, затем, чтобы, представляешь, понимаешь, я передал тебе весточку, ах да, Альберто, да, он меня сводил в кино, но и все на этом, я ему написала, я от тебя без ума, и они поцеловались и сейчас целуются, прямо сейчас, наверное, целуются. Боже, сделай так, чтобы они целовались, когда я приду, в губы, чтобы голые были, Господи, пожалуйста». Он выходит на проспект Альфонсо Угарте и идет к площади Болоньези мимо говорливых группок служащих, стоящих в дверях кафе или на углах; пересекает четыре ряда, запруженных автомобилями, и выходит к площади, где в центре, вознесенный на пьедестал, еще один бронзовый герой падает, изрешеченный чилийскими пулями¹⁰, в сумраке, вдали от света. «Клянетесь священным знаменем Родины, кровью наших героев, утесом мы спускались, и вдруг Плуту говорит, посмотри-ка наверх, а там Элена, мы

¹⁰ В романе описана первая статуя *Франсиско Болоньези* (1816–1880), павшего в битве при Арике во время Второй Тихоокеанской войны (с Чили), находившаяся на одноименной площади с 1905 по 1954 год и действительно изображавшая момент смерти национального героя, в отличие от более статичной нынешней.

клялись и маршировали, а министр сморкался и чесал нос, а моя бедная мама, больше никакой канасты, никаких вечеринок, ужинов, поездок, папа, отведи меня на футбол, футбол для негров, сынок, в следующем году отдам тебя в клуб «Регата», будешь гребцом, а потом умотал к шлюхам вроде Тересы». Он идет по бульвару Колумба, призрачно пустынному, старомодному, как коробки домов на нем, домов девятнадцатого века, в которых обитают лишь остатки приличных семейств, бульвару без машин, уставленному ломаными скамейками и статуями. Садится на экспресс до Мирафлореса, ярко сияющий, словно холодильник, и едет в окружении молчаливых, не улыбкающих людей. Выходит у школы Раймонди, шагает по неприветливым улицами Линсе: редкие продуктовые, издыхающие фонари, темные дома. «Так ты, значит, ни разу с мальчиками не встречалась, да что ты говоришь, ну да, в конце концов, с таким лицом, которым тебя боженька наградила, в кинотеатре «Метро», значит, очень красиво, кто бы мог подумать, посмотрим, будет ли тебя Раб водить на дневные сеансы в центре, в парк, на пляж, в Штаты, в Чосику по воскресеньям, вот оно как, значит, мама, мне нужно тебе кое-что сказать, я влюбился в одну выскочку из простых, а она мне рога наставила, как папа тебе, только мы еще пожениться не успели, я ей и в любви признаться не успел, ничего не успел, да что ты говоришь». Он добрался до угла Тересиного дома и стоит у самой стены, прячась в темноте. Улицы, насколько хватает глаз, пустые. Внутри дома слышно, как кто-то двигает предметы, то ли вынимает вещи из шкафа, то ли убирает, без спешки, методично. Альберто проводит рукой по волосам, приглаживает, пальцем нащупывает пробор, убеждается, что он все еще ровный. Вытаскивает платок, утирает лоб и рот. Поправляет рубашку, поднимает ногу, трет носком ботинка о край штанины, потом проделывает то же другой ногой. «Зайду, поздороваюсь с ними за руку, улыбнусь, я на минутку, прошу прощения, Тереса, мои письма, будь добра, а вот твои, спокойно, Раб, мы с тобой после поговорим, это мужской разговор, зачем устраивать сцены при ней? Ты ведь мужчина или как?» Альберто у двери, у трех бетонных ступенек. Вслушивается, но напрасно. И все же они там: ниточка света обрамляет дверной проем, а мгновение назад он услышал почти воздушный шорох касания, как будто о что-то оперлись рукой. «Заеду на своем кабриолете, в американских ботинках, в полотняной рубашке, с сигаретами с фильтром, в кожаном пиджаке, в шляпе с красным пером, погужу, скажу, залезайте, я вчера вернулся из Штатов, прокатимся, поехали ко мне в Оррантию, у меня там дом и жена-американка, она раньше киноартисткой была, поженились в Голливуде, когда я университет окончил, давайте, залезай, Раб, залезай, Тереса, радио включить пока?»

Альберто стучит два раза, во второй – погромче. Через минуту на пороге появляется женский силуэт, без лица, без голоса. Лампа в доме едва выхватывает из сумрака ее плечи и кусочек шеи. «Кто там?» – произносит она. Альберто не отвечает. Тереса отступает немного влево, и мягкий свет омывает лицо Альберто.

– Привет, – говорит Альберто, – я хочу с ним минутку поговорить. Это очень срочно. Позови его, пожалуйста.

– Привет, Альберто, – говорит она. – Я тебя не узнала. Заходи. Ты меня напугал.

Он заходит и тяжелым взглядом обводит все пустое помещение: занавеска между комнатами колыхается, и ему видна широкая неубранная кровать, а рядом другая, поменьше. Лицо его смягчается, он оборачивается: Тереса, стоя к нему спиной, закрывает дверь. Альберто успевает заметить, что она, прежде чем повернуться, быстро проводит рукой по волосам и расправляет складки на юбке. Теперь она стоит перед ним. И вдруг Альберто обнаруживает, что лицо, столько раз являвшееся ему в памяти за последние недели, было гораздо решительнее лица, которое он видит сейчас, видел в кинотеатре «Метро» и за этой дверью, когда они прощались, – смущенного, с робкими глазами, которые избегают встречаться с его глазами и жмурятся, словно на летнем солнце. Тереса улыбается и, кажется, смущена: руки сцепляются, расцепляются, падают вдоль тела, касаются стены.

– Я сбежал из училища, – говорит он. Вспыхивает и опускает голову.

– Сбежал? – Она приоткрыла рот, но больше ничего не говорит, только смотрит тревожно. Снова сложила руки, совсем близко от Альберто. – Что случилось? Расскажи. Да садись же, никого нет, тетя ушла.

Он вскидывается и спрашивает:

– Ты встречалась с Рабом?

Она широко открывает глаза:

– С кем?

– В смысле, с Рикардо Араной.

– А, – говорит она, будто бы успокоившись, и снова улыбается, – с мальчиком, который живет на углу.

– Он к тебе приходил? – не отстает Альберто.

– Ко мне? Нет. А что?

– Только честно! – он повышает голос. – Зачем ты мне врешь? То есть... – тут он сбивается, что-то лепечет, умолкает. Тереса серьезно смотрит на него, едва заметно поворачивает голову, руки опущены, и в глазах смутно проглядывает нечто новое – лукавый огонек.

– А почему ты спрашиваешь? – медленно, мягко, с легкой иронией произносит она.

– Раб ушел в увольнение сегодня днем. Я думал, он к тебе поехал. Наплел, что у него мать болеет.

– Зачем бы он ко мне поехал?

– Затем, что он в тебя влюблен.

Теперь этот огонек озаряет все лицо Тересы – щеки, губы, бархатистый лоб, на который спадает пара волнистых прядей.

– Я не знала, – говорит она. – Я всего раз с ним разговаривала. Но...

– Поэтому я и сбежал, – говорит Альберто. Замирает на миг с открытым ртом. И выпаливает: – Приревновал. Я тоже в тебя влюблен.

VII

Она всегда была такая опрятная, хорошо одетая. Я думал: и почему это у остальных девчонок так не получается? И не то чтобы она меняла наряды, наоборот, платьев у нее было раз, два – и обчелся. Когда мы занимались, и она случайно пачкала руки в чернилах, она бросала учебники на пол и уходила отмываться. Если делала даже малюсенькую кляксочку в тетради, вырывала страницу и все переписывала заново. «Ты же уйму времени теряешь, – говорил я, – лучше подправь бритвой, вот увидишь, ничего не будет заметно». Она никогда ни на что не злилась, но кляксы ее прямо бесили. Виски у нее под черными волосами пульсировали – медленно, в такт сердцу, – рот кривился. Но, вернувшись от раковины, она уже снова улыбалась. Школьная форма у нее была – синяя юбка и белая блузка. Иногда я смотрел, как она пришла из школы, и думал: «Ни мятой складочки, ни пятнышка». Еще было платье в клеточку, без рукавов, закрывавшее только плечи, с бантиком на шее. Сверху она надевала коричневую кофту. Застегивала одну пуговицу, и, когда шла, края кофты как бы развевались в воздухе, очень получалось красиво. Так она одевалась по воскресеньям, чтобы навещать родичей. Воскресенья были хуже всего. Я вставал пораньше и шел на площадь Бельявиста, садился на скамейку или разглядывал фотографии у кинотеатра, но их дом из виду не упускал, а то еще уйдут, а я и не замечу. Иногда она еще ходила за хлебом к китайцу Тилау, рядом с кинотеатром. Я говорил: «Вот совпадение, снова встретились!» Если стояло много народу, Тере оставалась на улице, а я пробивался, и китаец Тилау, мой приятель, мне отпускал без очереди. Однажды мы зашли вдвоем, а Тилау и говорит: «А, жених с невестой пришли. Вам как обычно? Две горячих слойки чанкай каждому?» Покупатели засмеялись, Тере покраснела, а я сказал: «Ну тебя, Тилау, кончай шутить, обслуживай давай». Но по воскресеньям булочная не работала.

Так что я следил за ними из фойе кинотеатра «Бельявиста» или со скамейки. Они ждали автобуса, который ходит по набережной. Иногда я притворялся, будто куда-то иду, засовывал руки в карманы, насвистывая и пиная камушек или там крышку от бутылки, оказывался рядом с ними и на ходу здоровался: «Добрый день, сеньора! Привет, Тере!» – и шагал дальше – домой или на проспект Саенс Пенья, ни за чем, просто так.

Еще она надевала платье в клеточку и коричневую кофту по понедельникам вечером, потому что тетка водила ее на женский сеанс в кинотеатр «Бельявиста». Я говорил матери, что мне нужно взять у нее тетрадку, и шел на площадь: дожидался, пока кончится фильм, и смотрел, как они с теткой идут и его обсуждают.

В другие дни она ходила в темно-коричневой юбке, старой, выцветшей. Иногда я приходил, а тетка штопает эту юбку – хорошо так штопала, заплаток почти не заметно было, швея все-таки, – и Тере тогда после школы не снимала форму и клала на стул газету, чтобы не испачкать форменную юбку. С темно-коричневой юбкой она носила белую блузку на трех пуговицах и верхнюю не застегивала, так что шея, смуглая и длинная, оставалась открытой. Зимой накидывала на эту блузку коричневую кофту. Я думал: «Надо же, как умеет прихорошиться».

Туфель у нее было всего две пары, особо не разгуляешься, хоть она и их держала всегда в порядке. В школу носила черные туфли на шнурках, вроде мужских ботинок, но на маленьких ножках они смотрелись хорошо. И всегда блестели – ни пылинки, ни пятнышка. После школы она наверняка их начищала: я видел, что домой она заходит в черных туфлях, а немного спустя, когда я приходил делать уроки, на ней уже были белые, а черные стояли у двери в кухню и сверкали, как зеркальные. Вряд ли она каждый день чистила их кремом, но уж тряпочкой точно.

Белые туфли едва не разваливались от старости. Она, бывает, зазевавшись, положит ногу на ногу, и я вижу, что на туфле, которая болтается в воздухе, подошва вся истертая, изъеденная, а однажды она ударилась ногой об стол, вскрикнула, прибежала тетка, сняла туфлю и стала ей массировать ступню, я присмотрелся – внутри сложенная картонка, и подумал: «В подошве дыра». Я один раз видел, как она чистит белые туфли, – она натирала их мелом со всех сторон, так же тщательно, как готовила уроки. Туфли становились как новенькие, но ненадолго, потому что, когда нога чего-то касалась, мел осыпался, и получалось пятно. Однажды я подумал: «Если бы у нее было мела в достатке, туфли всегда оставались бы чистыми. Она может носить мелок в кармане и чуть что – доставать его и подкрашивать туфлю». Напротив моей школы был канцелярский, я сходил и узнал, сколько стоит коробка мелков. Большая стоила шесть солей, маленькая – четыре с полтиной. Я не подозревал, что они такие дорогие. У Тощего Игераса просить займы стеснялся – и давешний-то соль ему еще не отдал. Мы дружили все крепче, хотя виделись всегда наскоро, в одном и том же кабаке. Он рассказывал мне анекдоты, спрашивал про школу, угощал сигаретами, учил выдувать кольца, задерживать дым и выпускать через нос. Я набрался смелости и попросил-таки четыре с полтиной. «Само собой, – сказал он, – бери, о чем речь», дал и даже не спросил на что. Я дунул в канцелярский и купил мелки. Собирался сказать: «Я принес тебе подарок, Тере», зашел к ним, приготовился, но, едва ее увидев, передумал и сказал: «Вот, в школе подарили, а мне мелки ни к чему. Тебе надо?» И она сказала: «Да, давай, конечно».

По мне так – дьявола на свете нет, но иногда сомневаюсь – из-за Ягуара. Он говорит, что в Бога не верит, только это вранье, понты. Это стало ясно, когда он избил Арроспиде за то, что тот скверно говорил про святую Розу. «Моя мама почитала святую Розу. Ее оскорбляешь – все равно что мою маму оскорбляешь», – понты, говорю же. У дьявола, наверное, рожа точь-в-точь как у Ягуара, и смех такой же, а еще рога острые. Идут за Кавой, сказал он, прознали, что это он стекло разбил. И засмеялся, а мы с Кучерявым онемели и аж затряслись. Как он догадался? Мне всегда снится, что я подхожу к нему сзади, вламываю, а потом лежачего добиваю,

хрясь, хрясь, на! Посмотрим, что он станет делать, как проснется. Кучерявый, надо думать, тоже интересуется. Ягуар – зверюга, Удав, тварь, каких мало, сказал он мне днем, видал, как он про индейца заранее узнал и как ржал? Если бы меня слили, тоже, наверное, помирал бы со смеху. А потом, правда, взбесился, но не из-за Кавы – из-за себя самого: «Совсем страх потеряли. Мне – и такое учинили. Не знают, с кем связались». Но сидит-то Кава. У меня аж волосы дыбом встают, а если бы мне тогда кости выпали? Хорошо бы Ягуара слили, интересно, какая бы у него физиономия стала, но его никому не слить, вот что противно – он все заранее знает. Говорят, звери все по запаху предчувствуют, просто чувствуют, через нос улавливают, что должно произойти. Мать говорит: в сороковом, когда было землетрясение, она поняла, что что-то надвигается, по собакам – все собаки в квартале взбеленились, бегали и выли, словно им косматый бес с рогами явился. А потом затрясло. Вот так и Ягуар. Сделал такое лицо особое, как он умеет, и говорит: «Кто-то стукнул. Божьей Матерью клянусь – стукнули», а Уарины с Морте еще и близко не было, ни шагов не слышно, ничего. Стыд и позор, ни один офицер его не видел, ни один сержант, давно бы его засадили, еще три недели назад на улицу вышвырнули, аж тошно, наверняка кадет. Может, пес или кто-то из четвертых. Четвертые – они тоже псы, постарше, поувертливее, но все равно псы. Мы никогда псами до конца не становились благодаря Кругу, мы заставили себя уважать, не с первого раза, не без боя, – но заставили. Когда мы были на четвертом, хоть одному пятому взбрело бы отправить нас заправлять ему койку? Я его повалю на пол, оплую, Ягуар, Кучерявый, индеец Кава, хотите пособить? У меня уже руки ноют – столько этого пидора мутузил. Даже к мелким из десятого взвода не лезли, а все благодаря Ягуару, он один не позволил себя крестить, подал пример, настоящий мужик, чего уж там. Хорошие были деньки, лучше всего, что потом случилось, но я бы не хотел повернуть время вспять, наоборот, хочу уже выпуститься, только бы не огондониться из-за индейца, убью сучонка, если засыт и нас сдаст. «Я за него ручаюсь, – сказал Кучерявый, – будет молчать, как рыба, даже если ему раскаленный прут вставят». Не повезет, если в самом конце погорим, прямо перед экзаменами, из-за сраного, блин, стекла. Не хотел бы я снова стать псом, хреново тут застрять еще на три года, это зная-то, что почем, пройдя через все. Некоторые псы говорят, мол, буду военным, буду летчиком, во флот подамся, все эти беленькие во флот хотят. Обожди, малой, через пару месяцев не так запоешь.

Окно гостиной выходило в просторный и пестрый цветущий сад. Оно было распахнуто настежь, и до них долетал запах мокрой травы. Бебе в четвертый раз поставил одну и ту же пластинку и скомандовал: «Вставай, хватит волынить, ради тебя стараемся». Альберто от усталости свалился в кресло. Плуту и Эмилио присутствовали на уроках в качестве зрителей и все время подкалывали его, сыпали намеками, вспоминали Элену. Скоро он снова отразится в большом зеркале на стене гостиной, с крайне серьезным видом кружась в объятиях Бебе, снова весь задеревенеет, снова Плуту заметит: «Опять, как робот, двигаешься».

Он встал. Эмилио с Плуту курили одну сигарету на двоих, сидели на диване и спорили о преимуществах американского табака перед английским. На Альберто они не обращали внимания. «Готово, – сказал Бебе, – теперь ты поведешь». Он начал танцевать, сперва очень медленно, аккуратно следуя движениям креольского вальса: шажок вправо, шажок влево, покружились в одну сторону, покружились в другую. «Уже лучше, – говорил Бебе, – только надо побыстрее шевелиться, чтобы в музыку попадать. Слушай: та-там, та-там, точка, та-там, та-там, точка». Альберто в самом деле чувствовал себя свободнее, легче, забывал думать про танец и больше не оттапывал Бебе ноги.

«Молодец, – говорил Бебе, – но ты расслабься, танцуй не только ногами. Когда кружишься, надо еще вот так выгибаться, смотри внимательно», – Бебе наклонялся, вежливая улыбка озаряла его молочное лицо, он вращался на каблуке, а когда приходил в прежнее положение, улыбка испарялась. «Это всё приемчики, смена шага или разные фигуры, потом

научишься. Сейчас ты должен привыкнуть вести партнершу как полагается. Не волнуйся, она сразу послушается. Руку ей на спину клади твердо, благородно. Дай-ка я тебя поведу чуток, чтобы ты понял. Видишь?левой рукой держишь ее руку, и в середине танца, если чувствуешь, что она не против, переплетаешь с ней пальцы, а саму ее подталкиваешь к себе, только потихоньку, медленно, нежно. Вот для этого нужно с самого начала всю пятерню крепко положить, не только кончики пальцев, всю ручищу, чуть пониже плеч. Потом как бы случайно начинаешь руку спускать, как будто на каждом повороте она сама сползает. Если девушка вздрагивает или отшатывается, начинай болтать все равно о чем, говори да улыбайся, улыбайся да говори, но руку не ослабляй. Прижимай ее к себе и дальше. В этом тебе поможет вращение, но всегда в одну сторону: у того, кто идет вправо, голова не кружится, хоть он пятьдесят раз подряд обернется, а она, получается, все время будет идти влево, и у нее голова очень скоро закружится. Вот увидишь, как только начнете делать повороты, она сама к тебе прильнет, чтобы не упасть. Тут уже можешь спускать руку до талии, а левой переплестать пальцы, и даже щекой к щеке чуть-чуть придвинуться. Понятно?»

Вальс кончился, проигрыватель издает монотонный скрип. Бебе снимает иглу.

– Этот всё на свете знает, молодчина! – говорит Эмилио, кивая в сторону Бебе. – Ушлый товарищ.

– Ну ладно, – говорит Плуту, – Альберто танцевать научили. Почему бы нам не устроить казино Веселого квартала?

Первоначальное неофициальное название квартала, отвергнутое из-за совпадения с улицей Уатика, снова всплыло несколько месяцев назад, когда Тико изобрел в клубе «Террасас» новую карточную игру. Колоду раздают на четырех игроков, и банк выбирает козыри. Играют парами. С самого появления эта игра оттеснила все остальные в местных компаниях.

– Но он же только вальс и болеро освоил, – говорит Бебе. – Ему еще мамбо надо.

– Нет, – говорит Альберто, – давай в другой раз.

В два часа дня, когда они только явились к Эмилио, Альберто пребывал в оживлении и легко отвечал на шуточки остальных. Четыре часа танцев его измотали. Один Бебе сохранял энтузиазм, прочие откровенно заскучили.

– Сам смотри, – сказал Бебе, – но вечеринка уже завтра.

Альберто передернуло. «Точно – вспомнил он, – да еще и у Аны. Там весь вечер только мамбо и будут ставить». Как и Бебе, Ана блистала в танцах: обожала разные фигуры, выдумывала новые па и светилась от счастья, если партнер не боялся кружить ее до упаду. «И что, буду сидеть весь вечер в углу, пока остальные танцуют с Эленой? Хорошо еще, если одни местные соберутся!»

Некоторое время назад квартал перестал быть островком, крепостью, обнесенной неприступной стеной. Пришельцы отовсюду – из других кварталов Мирафлореса: 28 июля, Редута, Французской улицы, Обрыва; из Сан-Исидро и даже из Барранко – вдруг наводнили здешние улицы. Они приставали к девочкам, вели с ними беседы, стоя у калиток и порогов, не обращая внимания на враждебность мальчишек или в открытую выступая против. Они были старше местных и иногда провоцировали их. Виноваты были девчонки – это они завлекали чужаков и, кажется, радовались их вторжению. Сара, кузина Плуту, встречалась с парнем из Сан-Исидро, а он, бывало, приводил с собой пару приятелей, и тогда к ним присоединялись Ана с Лаурой. Особенно часто чужаки объявлялись на вечеринках. Возникали словно по мановению волшебной палочки. Днем бродили вокруг дома, где намечалось веселье, шутили с хозяйкой, отпускали комплименты. Если напроситься на приглашение не удавалось, маячили за окнами, прижимались физиономиями к стеклам, в тоске наблюдая за танцующими парами. Махали, корчили рожи, несли всякую чушь, словом, всеми способами старались привлечь внимание, чтобы над ними сжалились и впустили. Иногда какая-нибудь гостья (как правило, та, что меньше всех танцевала) оказывалась не прочь замолвить за них словечко перед хозяйкой

вечеринки. И всё: гостиная разом наполнялась пришлыми, которые оттирали местных, завладевали проигрывателем и партнершами. Ана в этом смысле не отличалась порядочностью – клановое чувство у нее было развито слабо, считай, отсутствовало. Чужие интересовали ее больше своих. Если она их уже не позвала, то обязательно позовет, когда они явятся под окна.

– Хотя да, – сказал Альберто, – давай еще мамбо разучим.

– Хорошо, – сказал Бебе. – Только дай покурю. Потанцуй пока с Плуту.

Эмилио зевнул и пихнул Плуту локтем. «Иди, жги, танцор мамбо», – сказал он. Плуту рассмеялся. Смех у него был великолепный, всепоглощающий – с головы до ног он сотрясался от хохота.

– Ты идешь или нет? – сварливо спросил Альберто.

– Не кипятись, – ответил Плуту. – Иду.

Он поднялся и пошел выбирать пластинку. Бебе закурил и ногой отбивал такт какой-то мелодии, слышной ему одному.

– Слушай, – сказал Эмилио, – я кое-чего не понимаю. Ты же всегда первый шел танцевать – я имею в виду, на первых вечеринках, когда только начали с девчонками гулять. Забыл, что ли?

– Да какие это были танцы? – сказал Альберто. – Так, прыжки.

– Мы все с прыжков начинали, – заметил Плуту, – а потом выучились.

– Просто он на вечеринки сто лет носу не казал. Что, не так было?

– Так, – сказал Альберто, – потому и погорел.

– Мы думали, ты в монастырь намылился, – сказал Плуту. Он выбрал пластинку и теперь вертел ее в руках. – Не выходил никуда.

– Ну да, – сказал Альберто, – но не по своей воле. Меня мама не пускала.

– А теперь?

– А теперь пускает. Теперь у них с папой получше.

– Я не понял, – сказал Бебе, – а это тут при чем?

– Папаша у него – донжуан, – сказал Плуту. – Ты что, не знал? Никогда не видел, как он домой приходит? Всегда сначала на пороге губы вытирает.

– Да, – сказал Эмилио, – мы его один раз видели на пляже Подкова, на машине, с такой красоткой – закачаешься. Молодец мужик.

– Выглядит отлично, – добавил Плуту, – и одевается.

Альберто польщенно кивал.

– Хорошо, а как это связано с тем, что ему не позволяют ходить на вечеринки? – не унимался Бебе.

– Когда папа уходит в загул, – пояснил Альберто, – мама начинает трястись надо мной, чтобы я не стал как он, когда вырасту. Бойтся, что бабником буду, пропащим, все такое.

– Офигеть, – сказал Бебе, – какая прелесть.

– Мой тоже тот еще жук, – сказал Эмилио. – Иногда ночевать не приходит, а носовые платки вечно в губной помаде. Но мама не возражает. Только смеется и говорит: «Козел старый». Одна Ана расстраивается.

– Так, – сказал Плуту, – а танцевать-то будем?

– Да подожди ты, – сказал Эмилио, – давайте поболтаем. Завтра натанцуемся.

– Каждый раз, как мы заводим разговор про вечеринку, Альберто бледнеет, – сказал Бебе. – Не дрейфь, чувак. На сей раз Елена согласится. На что хочешь спорим.

– Думаешь? – сказал Альберто.

– Втрескался по уши, – сказал Эмилио. – Никогда не видел, чтобы кто-то так втрескался. И сам бы так не смог.

– Что мне делать? – спросил Альберто.

– Объясниться ей в любви еще двадцать раз.

– Я пока только три раза объяснялся. Не преувеличивай.

– Он правильно все делает, – встрял Бебе. – Если она ему нравится, надо дожимать, пока не согласится. А уж потом можно ее и помучить.

– А как же гордость? – сказал Эмилио. – Если меня одна отошьет, я тут же переключусь на другую.

– В этот раз она согласится, – заверил Бебе. – На днях мы сидели у Лауры, Елена спросила про тебя и вся покраснела, когда Тико сказал: «Что, соскучилась по нему?»

– Правда? – сказал Альберто.

– Втрескался, как пес, – сказал Эмилио. – Видали, как у него глаза заблестели?

– Может, – сказал Бебе, – ты просто как-то неправильно с ней говоришь. Постарайся произвести на нее впечатление. Уже знаешь, что скажешь?

– Более или менее, – сказал Альберто, – в общих чертах.

– Это хорошо, это самое главное, – похвалил Бебе. – Нужно заранее все слова продумать.

– Необязательно, – сказал Плуту. – Я предпочитаю импровизировать. Я обычно сильно нервничаю, но, как только заговариваю с девушкой, слова сами начинают течь. Вдохновение находит.

– Нет, – сказал Эмилио, – Бебе прав. Я тоже все загодя продумываю. И в нужный момент остается беспокоиться только насчет того, как именно говоришь, как на нее смотришь, когда взять ее за руку.

– Надо все выстроить в голове, – сказал Бебе. – И, если получится, хоть раз отрепетирую перед зеркалом.

– Хорошо, – сказал Альберто и, помолчав, добавил: – А ты что в таких случаях говоришь?

– Разное, – сказал Бебе. – Зависит от девушки, – тут Эмилио веско кивнул его словам. – Элену нельзя прямо, в лоб спрашивать, хочет она с тобой встречаться или нет. Ее нужно сперва обработать как следует.

– Может, она потому и дала мне от ворот поворот, – признался Альберто. – В прошлый раз я так и спросил: хочешь быть моей девушкой?

– Ну и дурак, – сказал Эмилио. – Да еще и утром. Посреди улицы. Кто так делает?

– Я однажды признался в любви во время мессы, – заметил Плуту. – И очень удачно прошло.

– Нет, нет, – перебил Эмилио и повернулся к Альберто, – слушай: завтра пригласишь ее на танец. Дождись, пока поставят болеро. Во время мамбо не вздумай. Музыка должна быть романтическая.

– За музыку не переживай, – сказал Бебе. – Когда будешь готов, сделай мне знак, и я поставлю «Ты мне нравишься» Лео Марини.

– Это мое счастливое болеро! – воскликнул Плуту. – Мне всегда под него говорили «да». Стопроцентно срабатывает.

– Ладно, – сказал Альберто, – дам знак.

– Пригласи ее на танец и больше не отпускай, – сказал Эмилио, – потихоньку отведи в уголок, чтобы остальные не слышали. И на ухо прошепчи: «Эленита, я от тебя без ума».

– Совсем спятил? – ужаснулся Плуту. – Хочешь, чтобы она опять его отшила?

– Почему? – не понял Эмилио. – Я всегда так говорю.

– Нет, – сказал Бебе, – это по-простецки, без изюминки. Сначала делаешь серьезное лицо и говоришь: «Элена, мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Ты мне нравишься. Я влюблен в тебя. Ты хочешь быть со мной?»

– А если она молчит в ответ, – подхватил Плуту, – то говоришь: «Разве ты ничего не чувствуешь ко мне, Эленита?»

– А потом сжимаешь ее руку, – продолжал Бебе, – медленно, нежно.

– Да ладно тебе бледнеть, дружище, – сказал Эмилио и похлопал Альберто по плечу. – Не волнуйся. В этот раз она согласится.

– Точно, – сказал Бебе, – завтра сам убедишься.

– Когда вы обо всем договоритесь, мы устроим вам хоровод, – сказал Плуту, – и споем «Здесь у нас двое влюбленных». Это я беру на себя. Даю слово.

Альберто улыбался.

– Но сначала нужно научиться танцевать мамбо, – сказал Бебе, – Иди давай, партнерша заждалась.

Плуту театрально распахнул ему объятия.

Кава говорил, что будет военным, артиллеристом. В последнее время он про это помалкивал, но думал наверняка. Индейцы, кто с гор, они такие, упертые – если им что втемяшилось, уже нипочем не выветрится. Почти все военные – индейцы. Вряд ли кому-то с побережья взбредет в голову идти в армию. Кава с лица – чистый индеец и военный, а теперь ему все похерили, училище, призвание, вот его что гложет, наверное. Не везет им, индейцам, вечно с ними какие-то передраги. Из-за поганого языка какого-то стукача, которого мы, может, и не найдем вовсе, с него при всех сорвут погоны, я как представляю – у меня аж мурашки, если бы мне в ту ночь кости выпали, я бы сейчас сидел. Только я бы стекло не разбил, надо полным идиотом быть, чтоб разбить стекло. Эти, с гор, придурковатые обычно. Наверняка со страху получилось, хотя Кава не из трусливых. Просто разок испугался – только так это можно объяснить. Невезуха опять же. Индейцам не везет, все самое плохое на них валится. Не родиться индейцем в горах – вот что называется удачей. А главное, он такого не ожидал, никто такого не ожидал, сидел себе и от души прикалывался над этим голубоватым Фонтаной, на французском никогда не соскучишься, чудной он, Фонтана. Кава бубнил: Фонтана-полуфонтана, полукарлик, полублондин, полумужик. Глаза у него синее, чем у Ягуара, но глядят по-другому – то ли всерьез, то ли шутя. Говорят, он не француз, а перуанец, а французом притворяется, это каким же гадом надо быть. От родины отречься – ничего гаже и представить нельзя. С другой стороны, может, врут, и кто это столько белиберды про Фонтану сочиняет? Каждый день что-то новое находят. Может, он и не голубой вовсе, но тогда откуда этот голосок, эти ужимки – так и хочется его за щеку ущипнуть? Если он вправду французом только притворяется, я рад, что его чмырил. И что остальные его чмырят. Так и буду чмырить до последнего урока. Профессор Фонтана, как по-французски сказать «кулек дерьма»? Жалко его иногда, он малый неплохой, странноватый только. Один раз даже расплакался, из-за лезвий вроде – зуммм, зуммм, зуммм. Все принесите по лезвию, вставьте в щель парты, а потом пальцем поддевайте – они будут гудеть, сказал Ягуар. Фонтана раскрывал рот, а слышно было только зуммм, зуммм, зуммм. Не ржите, чтобы ритма не терять, голубок разевает роток, зуммм, зуммм, зуммм, все сильнее, все дружнее, посмотрим, кто первый утомится. Минут сорок пять так сидели, не меньше. Кто выиграет, кто сдастся? Фонтана долго держался, как немой, который только губами шевелит, а у нас прямо симфония, красота, да и только, сыгрались. Потом он закрыл глаза, а когда открыл, мы увидели, что он плачет. Пидарас, точно. Но губами шевелить не перестал, выносливый, падла. Зуммм, зуммм, зуммм. Потом ушел, и все сказали: «За лейтенантом пошел, погорели мы», но нет, просто свалил, и все. Каждый день его чмырят, а он офицерам ни полслова. Боится, наверное, что побьют, хотя на труса не похож. Иногда ему вроде даже нравится, что его достают. Странные они, голубые-то. Но он правда молодчага, на экзаменах не валит. А что чмырят – сам виноват. Какого хрена он с таким голосом и такими ужимками забыл в мужском училище? Кава от него не отстает, прямо ненавидит. Только тот в класс зайдет, Кава начинает: «Как по-французски будет «голубой»? Профессор, а вы бои без правил любите? Вы, наверное, очень творческий человек, почему бы вам не спеть что-нибудь по-французски? У вас такой приятный голос. А глаза у вас, профессор Фонтана, совсем как у Риты Хейворт». А

он не молчит, отвечает, но всегда по-французски. Эй, алё, профессор, не ругайтесь, не посылайте нас, я вас вызываю на бой, будем боксировать в перчатках, Ягуар, держи себя в руках. В общем, с говном его сожрали, по струнке у нас ходит. Однажды всю спину ему заплевали, пока он писал на доске, фу, говорил Кава, кто ж таким обхарканным на занятия приходит, надо было помыться-постираться сначала. Кстати, тогда он позвал офицера, в первый и последний раз, вот смех, больше не звал. Гамбоа – крутан, тогда-то мы и поняли, насколько он крут. Смирил Фонтану взглядом, в классе напряг, никто даже не дышал. А что вы от меня-то хотите, профессор? Вы уроком руководите. Очень просто сделать так, чтобы вас уважали. Вот смотрите. Он взглянул на нас и сказал: «Внимание, на...» За секунду все смирно стали. «В присед, на...!» За секунду все присели. «Гусиный шаг на месте!», и моментально все запрыгали враспырку. Минут десять прыгали. У меня коленки насмерть затекли, раз-два, раз-два, серьезно так, будто утки, пока Гамбоа не сказал: «Встать!» И не спросил: «Кто-нибудь желает со мной что-нибудь обсудить, как мужчина с женщиной?» Класс словно вымер, слышно было, как муха летит. Фонтана только глазами хлопал, не мог поверить. «Нужно сделать так, чтобы они вас уважали, профессор. Их манерами не возьмешь, их что пожестче понимает. Хотите, лишу их всех увольнений?» – «Не берите в голову», – сказал Фонтана, отличный, блин, ответ, не берите в голову, лейтенант. С тех пор мы начали, не раскрывая ртов, мычать ему «пи-да-рас» – Кава в тот день тоже мычал, он вроде как чревоушитель. Губами не шевелит, глазами своими индейскими не двигает, а из нутра ясный такой голос идет, прямо удивительно. И тут Ягуар сказал: «За Кавой идут, все про него прознали». И заржал, а Кава закрутил башкой, и мы с Кучерявым сперва не поняли: «Что такое, братан?» – и в дверях показался Уарина и сказал: «Кава, с нами на выход, простите, профессор Фонтана, у нас важное дело». Молоток индеец, поднялся, как мужик, и вышел, на нас не взглянул, а Ягуар зашипел: «Не знают, с кем связались» – и давай Каву поливать, индеец сраный, за тупорылость твою тебя слили, и все индеец да индеец, как будто он виноват, что его отчислят.

Он позабыл мелкие одинаковые события, составлявшие его жизнь, дни, следовавшие за тем, когда он обнаружил, что маме тоже нельзя доверять, но не забыл разочарование, горечь, обиду, страх, которые наполнили его сердце и его ночи. Труднее всего было притворяться. Раньше он не вставал с постели, пока отец не уходил из дома. Но однажды утром кто-то сорвал с него одеяло, пока он еще спал, – ему стало холодно, ясный свет зари заставил открыть глаза. Сердце замерло: над ним стоял отец, и зрачки у него горели, как в ту ночь. Он услышал:

– Сколько тебе лет?

– Десять.

– Ты мужчина? Отвечай.

– Да, – пролепетал он.

– Тогда вон из постели, – сказал голос. – Только бабы валяются целыми днями, потому что они лентяйки. Ну да у них есть такое право – на то они и бабы. Тебя воспитали как бабенку. Но я из тебя сделаю мужика.

Он уже вскочил с кровати и в спешке бестолково одевался: ботинок не на ту ногу, рубашка наизнанку, пуговицы перепутал, ремень забыл, руки дрожали и не могли справиться со шнурами.

– Каждый день, когда я спускаюсь к завтраку, ты должен ждать меня за столом. Умытый и причесанный. Уяснил?

Он завтракал с отцом и подстраивался под его настроение. Если отец улыбался и складки на его лбу исчезали, если глядел спокойно, то он задавал льстивые вопросы, очень внимательно слушал, кивал, широко открывал глаза и интересовался, не вымыл ли отцу машину. И наоборот: если отец пребывал в мрачном расположении духа и не отвечал, когда ему желали доброго утра, то он помалкивал и выслушивал угрозы, опустив голову, как бы раскаиваясь. За

обедом напряжение немного спадало благодаря присутствию мамы. Родители разговаривали друг с дружкой, и ему удавалось остаться почти незамеченным. Вечером попытка заканчивалась. Отец возвращался поздно. Он ужинал один. С семи часов начинал виться вокруг мамы, рассказывал, что валится с ног от усталости, страшно хочет спать, мается головной болью. Быстро ел и бежал к себе в комнату. Иногда, не успев раздеться, слышал, как у дома останавливается автомобиль. Тогда он гасил свет и нырял в постель. Через час тихонько вставал, раздевался, надевал пижаму.

По утрам он, бывало, выходил на прогулку. В десять часов на Салаверри было безлюдно; время от времени проезжал полупустой трамвай. Он шел до проспекта Бразилии и останавливался на углу. Переходить широкий лощеный проспект мама запрещала. Он следил за теряющимися вдали автомобилями, едущими в сторону центра, и вспоминал, что в конце этого самого проспекта – площадь Болоньези, куда родители иногда водили его: шумное скопление машин и трамваев, толпы на тротуарах, блестящие, как зеркала, капоты, в которых отражались яркие вывески – неведомые цветастые яркие линии и буквы. Лима пугала его, она оказалась слишком большой, в ней можно было заблудиться и никогда не найти дорогу домой, по улицам бродили незнакомые люди. В Чиклайо он везде ходил сам, прохожие гладили его по голове, называли по имени, а он в ответ улыбался – он видел их много раз: у себя в гостях, на Гербовой площади во время гуляний, по воскресеньям на мессе, на пляже в Этене.

Потом он спускался до конца проспекта Бразилии и садился на скамейке в маленьком полукруглом парке у самых утесов, над пепельным морем района Магдалена. Парки в Чиклайо – их было немного, он помнил все наперечет, – тоже сплошь старые, походили на этот, только без ржавчины на скамейках, без мха, без печали, навеваемой одиночеством, пасмурным небом, меланхоличным гулом океана. Иногда, сидя спиной к морю и смотря на проспект Бразилии, – расстилающийся перед ним, как шоссе с севера, когда он ехал в Лиму, – он ощущал такую тоску, что готов был зареветь в голос. Вспоминал, как тетя Адела возвращалась из магазина, с улыбкой подходила к нему и говорила: «Ну-ка, угадай, кого я встретила на улице?» – а потом доставала из сумки кулек конфет или шоколадку, а он вырывал их у нее из рук. Вспоминал солнце, белый свет, в котором улицы купались круглый год и оттого становились теплыми, уютными, волнующие воскресенья, походы на пляж в Этен, горяченый желтый песок, чистое-пре-чистое синее небо. Поднимал голову: одни тучи, никакого просвета. Медленно, волоча ноги, как старик, возвращался домой. И думал: «Когда вырасту, вернусь в Чиклайо. И больше никогда не приеду в Лиму».

VIII

Лейтенант Гамбоа проснулся: в окно проникало только смутное мерцание далеких фонарей на плацу, небо было черно. Через пару секунд прозвенел будильник. Он встал, потер глаза, на ощупь нашел полотенце, мыло, бритву и зубную щетку. В коридоре и уборной стояли потемки. Из соседних комнат не долетало ни звука – как обычно, он поднялся раньше всех. Пятнадцать минут спустя, возвращаясь причесанным и выбритым к себе, услышал, как начинают надрываться другие будильники. Светало: вдали, за желтоватым сиянием фонарей росла тоненькая голубая полоска. Он неспешно оделся в полевую форму. Вышел на улицу. Направился не к казармам, а к зданию гауптвахты. Было прохладно, а он не надел куртку. Солдаты у порога отдали ему честь, он ответил. Дежурный лейтенант Педро Питалуга, сгорбившись и опустив голову на руки, сидел на стуле.

– Внимание! – гаркнул Гамбоа.

Питалуга подпрыгнул, даже не успев открыть глаза. Гамбоа рассмеялся.

– Катись ты, – сказал Питалуга, снова сел и почесал голову. – Я думал, это Пиранья. С ног валюсь. Который час?

– Скоро пять. Тебе всего сорок минут осталось. Немного. Зачем ты спать прикладываешься? Это хуже некуда.

– Знаю, – зевнул Питалуга. – Нарушил я устав.

– Нарушил, – усмехнулся Гамбоа. – Но я не о том. Если спать сидя, все тело затекает. Лучше что-нибудь делать, так время незаметно идет.

– Что делать? С солдатами балакать? Так точно, господин лейтенант, никак нет, господин лейтенант. Очень интересно. Еще и в увольнение проситься начинают, только слово им скажешь.

– Я, когда дежурю, над книгами сижу, – сказал Гамбоа. – Ночью лучше всего заниматься. Днем не могу.

– Конечно, – сказал Питалуга, – ты же у нас образцовый офицер. Чего тебе, кстати, не спится?

– Сегодня суббота, забыл?

– Полевые, – сказал Питалуга. Предложил Гамбоа закурить, тот отказался: – Ладно хоть это дежурство меня от полевых избавило.

Гамбоа вспомнилось, как они учились в военной академии. Питалуга был с ним в одном взводе – прилежанием не отличался, зато стрелял очень метко. Однажды, во время ежегодных маневров, ринулся верхом в реку. По плечи ушел в воду, конь испуганно ржал, курсанты кричали, чтобы вернулся назад, но Питалуга преодолел быстрый поток и, вымокший и счастливый, выехал на другой берег. Капитан курса поздравил его на общем построении и сказал: «Вы настоящий мужчина». А теперь Питалуга жалуется на службу, норовит улизнуть с полевых занятий. Как солдаты с кадетами – только и думает, что об увольнении. Но у солдат с кадетами есть оправдание – они в армии временно: одних насильно забрали из их деревень, вторых сбаврили сюда родители. Питалуга же сам выбрал себе профессию. И он такой не один: Урина каждые две недели сочиняет, будто у него жена больна, чтобы смыться. Мартинес пьет на работе – всем известно, что в термосе для кофе у него писко. Почему тогда не уйти в отставку? Питалуга разжирел, книги в руки не берет, возвращается поддатый. «Много лет лейтенантом будет мыкаться», – подумал Гамбоа. И поправил себя: «Если только у него нет нужных знакомств». Сам он любил в армейской жизни именно то, что другие ненавидели: дисциплину, иерархию, полевые занятия.

– Пойду позвоню.

– В такое время?

– Да, – сказал Гамбоа, – жена, наверное, уже встала. Ей в шесть выезжать.

Питалуга сделал неопределенный жест. Как черепаха, прячущаяся в панцирь, снова закрыл лицо руками. Голос Гамбоа, говорившего по телефону, звучал тихо и мягко, – он задавал вопросы, упоминал таблетки от тошноты, холод, просил отправить откуда-нибудь телеграмму, повторял: «Ты хорошо себя чувствуешь?» – потом коротко, быстро попрощался. Питалуга машинально развел руки, голова осталась висеть, как колокол. Поморгал, открыл глаза. Вяло улыбнулся. Сказал:

– У тебя прямо как медовый месяц. С женой говоришь, будто только что женился.

– Три месяца назад.

– Я год назад. И веришь ли – хоть бы вообще с ней не разговаривал. Жуткая баба, как ее мамаша. Если бы я в пять утра ей позвонил, наорала бы и обозвала сраным солдафоном.

Гамбоа улыбнулся.

– Моя совсем молоденькая. Ей всего восемнадцать. У нас будет ребенок.

– Сочувствую, – сказал Питалуга, – не знал. Надо предохраняться.

– Да нет, я хочу ребенка.

– А, конечно. Я понял. Чтобы из него военного сделать.

Гамбоа как будто удивился.

– Не уверен, что хочу делать из него военного, – пробормотал он. И смерил Питалугу взглядом: – По крайней мере, такого военного, как ты, – точно не хочу.

Питалуга встрепенулся.

– Это что еще за шуточки? – кисло проговорил он.

– Брось, – сказал Гамбоа, – забудь.

Развернулся и вышел. Часовые у порога снова отдали ему честь. У одного пилотка сползла на ухо, и Гамбоа едва сдержался, чтобы не указать на это, но передумал – не хватало склоки с Питалугой. Тот снова зарылся нечесаной головой в руки, но спать расхотелось. Он выругался и крикнул солдату, чтобы принес ему чашку кофе.

Когда Гамбоа дошел до двора пятого курса, горнист уже успел протрубить побудку третьему и четвертому и стал перед казармами пятого. При виде лейтенанта он отнял горн ото рта, вытянулся смирно и отдал честь. Все солдаты и кадеты знали, что Гамбоа – единственный офицер в Леонсио Прадо, который по уставу отвечает младшим по званию: остальные в лучшем случае кивали. Гамбоа скрестил руки на груди и дождался, пока солдат закончит трубить. Проверил время. В дверях казармы стояли дежурные. Он внимательно осмотрел их по очереди: под его взглядом они подбирались, нахлобучивали пилотки, поправляли брюки и галстуки, прежде чем поднести руку к виску. Потом разворачивались и исчезали в казарме. Начался обычный гул. Через минуту появился сержант Песоа – прибежал бегом.

– Доброе утро, господин лейтенант.

– Доброе утро. Что случилось?

– Ничего, господин лейтенант. А почему вы спрашиваете, господин лейтенант?

– Вы должны присутствовать во дворе во время побудки. Ваша обязанность – обходить казармы и подгонять кадетов. Или вы этого не знали?

– Знал, господин лейтенант.

– Тогда чего вы ждете? Дуйте в казарму. Если через семь минут курс не будет построен, ответственность возложу на вас.

– Есть, господин лейтенант.

Песоа бросился в казарму первого взвода. Гамбоа стоял посреди двора, посматривал на часы и слушал, как плотный жизнеутверждающий гомон нарастает и стекается к нему – так опоры циркового шатра сходятся к центральному столбу. Ему не требовалось заглядывать в казармы, чтобы чувствовать, как кадеты злятся от недосыпа, бесятся, что не успевают заправить постели и одеться, как в предвкушении волнуются любители пострелять и поиграть в войнушку, как неохотно собираются лентяи, которые участвуют в полевых занятиях без радости, из-под палки, как затаенно радуются те, кто после вылазки сиганет за стадион вымыться в общих душевых, быстро натянет синюю выходную форму и отправится в город.

В пять ноль семь Гамбоа дал долгий свисток. Тут же послышались возмущенные возгласы и ругательства, но почти одновременно двери казарм распахнулись, и из темных проемов хлынула зеленоватая масса кадетов: они толкались, на бегу заканчивали одеваться – пользуясь одной рукой, потому что другая, выставленная вверх, держала винтовку, – и вся матерящаяся, пихающаяся масса образовывала вокруг него шумные шеренги, пока на небе робко занималась заря второй субботы октября, похожая до поры до времени на обычную зарю любой обычной субботы, когда предстоят обычные полевые занятия. Внезапно он услышал громкий звон металла и крепкое слово.

– Кто уронил винтовку – ко мне! – прокричал он.

Гомон моментально смолк. Все уставились перед собой, судорожно сжимая винтовки. Сержант Песоа на цыпочках подошел к лейтенанту и стал рядом.

– Я сказал: кадет, который уронил винтовку, – подойти ко мне! – повторил Гамбоа.

Тишину нарушил топот ботинок. Взгляды всего батальона устремились на Гамбоа. Он смотрел кадету в глаза.

– Фамилия.

Кадет, запинаясь, назвал фамилию, роту, взвод.

– Осмотрите винтовку, Песоа, – сказал Гамбоа.

Сержант подскочил к кадету и церемонно обследовал винтовку: медленно поднес к глазам, повертел, поднял на вытянутых руках, как будто хотел оценить на просвет, проверил магазин, положение прицела, подвигал курок.

– Приклад поцарапан, господин лейтенант. И смазана плохо.

– Сколько вы уже в военном училище, кадет?

– Три года, господин лейтенант.

– И до сих пор не научились держать винтовку? Оружие не должно касаться земли. Лучше шею себе сломать, чем отпустить винтовку. Для солдата оружие не менее важно, чем яйца. Вы за яйцами следите, кадет?

– Так точно, господин лейтенант.

– Превосходно. Вот и за винтовкой надо так же следить. Возвращайтесь в строй. Песоа, запишите ему шесть штрафных баллов.

Сержант достал блокнот и, послунив карандаш, записал.

Гамбоа дал команду маршировать.

Когда последний взвод пятого курса вошел в столовую, Гамбоа направился в офицерское кафе. Он был первым. Вскоре начали подходить лейтенанты и капитаны. Командиры рот пятого курса – Уарина, Питалуга и Кальсада – подсели к Гамбоа.

– Пошевеливайся, индеец, – сказал Питалуга. – Завтрак должен подаваться на стол, как только офицер входит.

Солдат пробормотал извинения, которых Гамбоа не расслышал: рев самолетного двигателя взрезал рассвет, и лейтенант обшаривал глазами однообразное сырое небо. Перевел взгляд на пустырь. Идеально расставленные по четыре штуки, ствол к стволу, полторы тысячи кадетских винтовок ждали в тумане: викунья бродила между рядами образованных винтовками пирамидок и обнюхивала их.

– Совет офицеров уже решил что-нибудь? – спросил Кальсада, самый толстый из четверых. Он откусывал хлеб и говорил с набитым ртом.

– Вчера, – сказал Уарина. – Закончили поздно, после десяти. Полковник рвал и метал.

– Он всегда рвет и мечет, – сказал Питалуга. – Когда что-то всплывает, когда ни шиша не всплывает, – он пихнул Уарину локтем. – Но тебе не на что жаловаться. Повезло. Такое не помешает в послужном списке.

– Да, – сказал Уарина, – было нелегко.

– Когда с него погоны срывают? – сказал Кальсада. – Это весело.

– В понедельник в одиннадцать.

– Прирожденные уголовники, – сказал Питалуга. – Ничем не гнушаются. Представляете? Кража со взломом, ни больше ни меньше. За то время, пока я здесь служу, уже шестерых отчислили.

– Они не по своей воле поступают в училище, – сказал Гамбоа, – вот что плохо.

– Да, – сказал Кальсада, – склад ума у них гражданский.

– Некоторые за священников нас принимают, – сказал Уарина. – Один хотел мне исповедаться, чтобы я ему совет дал. Уму непостижимо!

– Половину запикивают сюда родители, чтобы в банду не попали, – сказал Гамбоа, – а вторую половину – чтобы мужиков из них сделать.

– Думают, тут колония для малолетних, – сказал Питалуга и ударил кулаком по столу. – В Перу ничего до конца, как следует, не делается, и все в результате через жопу. Солдаты-новобранцы – сплошь грязные, вшивые, вороватые. Армия их насильно обтесывает. Годик в

казарме, и от индейца только космы остаются. Но у нас все наоборот – они, пока тут торчат, непонятно в кого превращаются. Пятикурсники хуже псов.

– Учение розгами прирастает, – сказал Кальсада. – Жаль, этих сопляков трогать нельзя. Поднимешь руку – нажалуются, скандал будет.

– Пиранья пришел, – прошептал Уарина.

Лейтенанты поднялись на ноги. Капитан Гарридо приветствовал их кивком. Он был высокий и бледный, кожа на скулах слегка отливала зеленым. Пираньей его прозвали, потому что огромные белоснежные зубы у него выдавались вперед, как у хищных обитательниц амазонских глубин, а челюсти то и дело судорожно сжимались. Он раздал лейтенантам по листку бумаги.

– Указания относительно наступления. Пятый курс пойдет по-за огородами, к открытому участку вокруг холма. Поторапливайтесь. Туда только маршировать минут сорок пять.

– Строить их или вас подождать, господин капитан? – спросил Гамбоа.

– Отправляйтесь, – сказал капитан, – я догоню.

Лейтенанты вышли через общую столовую на пустырь и стали в линию на расстоянии друг от друга. Дали свистки. Гул в столовой усилился, и через минуту начали выбегать кадеты. Они забирали свои винтовки, мчались на плац и строились повзводно.

Вскоре батальон под взглядами замерших часовых уже выливался в распахнутые главные ворота училища и наводнял всю набережную. Чистый асфальт сверкал. Шли в три колонны, но так широко, что правая и левая занимали края проспекта, а центральная – середину.

Когда добрались до Пальмового проспекта, Гамбоа дал команду сворачивать к Бельявисте. Спускаясь по склону под сенью огромных раскидистых пальм, кадеты различали далеко впереди смутные громады Военно-морского арсенала и порта Кальяо. По бокам – старые высокие дома района Ла-Перла, увитые плющом, с садами и палисадниками разных размеров за ржавыми решетками. У проспекта Прогресса утро начало оживляться: босые женщины с корзинами и пакетами овощей останавливались и провожали глазами непарадно одетых кадетов, собачьи стаи вились вокруг батальона и облаивали его, чумазые тощие ребятишки устремлялись следом за ним, как рыбы – за кораблем в открытом море.

На проспекте батальон стал: автомобили и автобусы не давали пройти. По сигналу Гамбоа сержанты Мorte и Песоа вышли на мостовую и сдерживали безудержный, как струя крови, поток, пока батальон маршировал через улицу. Вzbешенные водители сигналили, кадеты материли их в ответ. Шедший во главе Гамбоа поднял руку и сделал знак следовать не к порту, а напрямик, бездорожьем, вдоль молодых хлопковых посевов. Когда весь батальон выбрался с асфальта на землю, Гамбоа подозвал сержантов.

– Холм видите? – он указал на темное возвышение за хлопковым полем.

– Так точно, господин лейтенант, – хором ответили Мorte и Песоа.

– Это цель. Песоа, возьмите шесть человек и идите вперед. Осмотрите местность и убедите оттуда всех людей, которые встретятся. Ни на холме, ни вокруг не должно оставаться ни души. Ясно?

Песоа кивнул и развернулся к первому взводу.

– Шесть добровольцев.

Никто не сдвинулся с места, все старались избегать сержантского взгляда. Подошел Гамбоа.

– С первого по шестого в колонне – выйти из строя. Отправитесь с сержантом.

Время от времени выбрасывая вверх сжатую в кулак правую руку, чтобы задавать кадетам ритм, Песоа трусцой побежал в сторону холма. Лейтенанты образовали кружок. Гамбоа сказал:

– Я послал Песоа зачистить местность.

– Хорошо, – ответил Кальсада. – Все вроде по плану. Я со своими остаюсь с этой стороны.

– А я наступаю с севера, – сказал Уарина. – Вечно мне самое говно достается. Еще четыре километра топтать.

– Час на то, чтобы добраться до вершины, – не так уж много, – сказал Гамбоа. – Надо бы поскорее их туда загнать.

– Надеюсь, мишени хорошо укреплены, – сказал Кальсада, – в прошлый раз их ветром пораскидало, и мы стреляли по тучам.

– Не беспокойся, – сказал Гамбоа, – они теперь не картонные, а парусиновые, метр в диаметре. Солдаты вчера расставили. Стрелять пусть начинают не дальше двухсот метров.

– Есть, генерал, – сказал Кальсада. – Учить нас будешь?

– Вас учить – только горло зря драть, – сказал Гамбоа. – Все равно у твоей роты ни одного попадания не будет.

– Поспорим, генерал? – сказал Кальсада.

– На полтинник.

– Я разобью, – предложил Уарина.

– Договорились, – сказал Кальсада. – Цыц, Пиранья идет.

Подошел капитан.

– Чего ждем?

– Мы готовы, – сказал Кальсада. – Вас ждали, господин капитан.

– Позиции определили?

– Так точно, господин капитан.

– Послали разведать, чисто ли на участке?

– Так точно, господин капитан. Сержанта Песоа.

– Отлично. Сверим часы, – сказал капитан. – Начинаем в девять. В половине десятого открывайте огонь. Как только начнется штурм, огонь прекратить. Понятно?

– Так точно, господин капитан.

– В десять все должны быть на вершине, там места много, всем хватит. Свои роты на позиции вести трусцой, чтобы парни разогрелись.

Лейтенанты разошлись. Капитан остался на месте и слушал, как они отдают команды, – Гамбоа громче и энергичнее всех. Вскоре он оказался один. Батальон разделился на три клина, двинувшиеся к холму с разных сторон. Кадеты на бегу разговаривали, до капитана долетали отдельные фразы в общем гуле. Лейтенанты бежали во главе взводов, сержанты – по бокам. Капитан Гарридо поднес к глазам бинокль. На холме, в середине склона высились на расстоянии четырех-пяти метров друг от друга мишени – идеальные окружности. Он бы сам с удовольствием пострелял. Но сейчас очередь кадетов, а для него полевые – сплошная скука, стой да наблюдай. Он открыл пачку папирос и достал одну. Сжег несколько спичек из-за ветра, закурил. И бодро зашагал вслед за первой ротой. Он любил смотреть, как работает Гамбоа, относившийся к полевым занятиям очень серьезно.

У подножия холма Гамбоа заметил, что кадеты совсем выдохлись: некоторые разевали рты, кровь отхлынула от лиц, и все, как один, смотрели на него, отчаянно надеясь услышать громкий приказ. Но он приказа не дал; оглядел белые окружности, лысые охряные склоны, сбегавшие к хлопковым полям, а за мишенями, несколькими метрами выше, – гребень холма, широкий массивный изгиб, поджидавший их. И побежал – сначала вдоль холма, потом через поле, так быстро, как только мог, стараясь не раскрывать рта, хотя его сердце и легкие тоже жаждали глотка свежего ветра; вены на шее вздувались, кожа с головы до пят покрылась холодным потом. Один раз обернулся проверить, удалились ли они хотя бы на километр от начальных позиций, а потом закрыл глаза и ускорился, двигаясь огромными скачками и взрезая воздух руками. Так он добрался до кустов, разросшихся на краю поля, у оросительной канавы, отмеченной в указаниях как граница позиций первой роты. Остановился и только тогда открыл рот, жадно задышал, развел руки. Вытер пот со лба, чтобы кадеты не догадались, как он устал.

Первыми до кустов добежали сержанты и командир взвода Арроспиде. За ними – остальные, в полном беспорядке: колонны исчезли, оставались стайки, разрозненные группы. Вскоре три взвода выстроились подковой перед Гамбоа. Он слушал животное дыхание ста двадцати кадетов, уперших винтовки в землю.

– Командиры взводов – ко мне! – скомандовал он. Арроспиде и еще двое отделились от строя, – Рота – вольно!

С двумя сержантами и тремя взводными отошел в сторону. Чертя крестики и линии на земле, подробно разъяснил тактику нападения.

– Позиции ясны? – Пятеро слушателей кивнули. – Отлично. Ударные группы развернутся веером, как только я скомандую марш; развернуться – значит не сбиваться в кучу, как бараны, а идти по отдельности, хоть и на одной линии. Ясно? Хорошо. Наша рота атакует на южном фронте, том, который прямо перед нами. Все видно?

Сержанты и взводные присмотрелись к холму и ответили утвердительно.

– А какие указания по наступлению, господин лейтенант? – робко сказал Мортс. Взводные уставились на него, и он тут же залился краской.

– Я к этому веду, – сказал Гамбоа. – Перебежками по десять метров. Наступаем ступенчато. Кадеты как можно быстрее пробегают это расстояние и падают на землю. Если кто изгваздает винтовку – лично по заднице надаю. Когда вся первая линия будет на земле, я даю свисток, и вторая стреляет. Один выстрел. Ясно? Потом стрелки снимаются с места, пробегают десять метров, ложатся. Третья линия стреляет и идет вперед. И все сначала. Все передвижения – по моей команде. Так проходим сто метров. Потом развернутые группы могут немного сойтись, чтобы не занимать участки других рот. В финальное наступление все три взвода идут одновременно, но к этому времени холм уже почти полностью зачищен, вражеских очагов почти не осталось.

– Сколько у нас времени на взятие цели? – спросил Мортс.

– Час, – сказал Гамбоа, – но это уж мое дело. Дело сержантов и командиров взводов – следить, чтобы шеренги не слишком расползались и не слишком сучивались, чтобы никто не отставал, и все время быть на связи со мной, если вдруг понадобится.

– Мы идем впереди или в хвосте? – спросил Арроспиде.

– Вы на первой линии, сержанты сзади. Вопросы? Отлично, объясните операцию командирам групп. Начинаем через пятнадцать минут.

Сержанты и взводные трусцой удалились. Присевший на корточки Гамбоа увидел, что идет капитан Гарридо, и хотел подняться, но Пиранья сделал жест, чтоб оставался на месте. Вдвоем они смотрели, как взводы делятся на группы по двенадцать человек. Кадеты потуже затягивали ремни, перешнуровывали ботинки, поправляли пилотки, стирали пыль с винтовок, проверяли затворы.

– То-то радости, – сказал капитан, – полные штаны. Будто на танцульки собираются.

– Да, – сказал Гамбоа, – думают, на войну попали.

– Если бы им пришлось в один прекрасный день воевать по-настоящему, все они дезертировали бы или просто померли со страху. Но, к счастью для них, у нас военные стреляют только на учениях. Не думаю, что Перу когда-нибудь вступит в настоящую войну.

– Но, господин капитан, – возразил Гамбоа, – мы ведь окружены врагами. Эквадор и Колумбия только и мечтают, как бы оттяпать у нас кусок сельвы. А Чили мы еще не ответили за Арику и Тарапака.

– Если бы, – скептически сказал капитан. – Теперь все решают большие шишки. В сорок первом я участвовал в эквадорской кампании. Мы бы до Кито дошли. Но вмешались политики и нашли дипломатическое решение, мать их за ногу. Все решают штатские. Не знаю, зачем перуанцы в армию идут.

– Раньше было по-другому, – сказал Гамбоа.

Вернулся Песоа с шестью кадетами. Капитан подозвал его.

– Весь холм обогнули?

– Да, господин капитан. Все чисто.

– Почти девять, господин капитан, – сказал Гамбоа. – Я буду начинать.

– Начинайте, – сказал капитан и неожиданно вздорно добавил: – Взгрейте этих лодырей по самое не могу.

Гамбоа отправился к роте. Окинул долгим взглядом, как бы угадывая скрытые возможности, предел выносливости, коэффициент доблести. Голову он отвел слегка назад: ветер трепал его камуфляжную рубашку и черные волосы, выбивающиеся из-под пилотки.

– Шире строй, на...! – прокричал он. – Хотите, чтобы вас в порошок стерли? Между двумя бойцами – минимум пять метров. К мессе собрались, что ли?

Три колонны дрогнули. Командиры групп вышли из строя и заорали, чтобы кадеты рассредоточились. Шеренги растянулись, поредели.

– Наступаем зигзагом, – сказал Гамбоа. Он говорил очень громко, чтобы те, кто оказался по краям, тоже слышали, – Это вам известно с третьего курса: гуськом, как в процессии, идти нельзя. Если кто-то остается стоять, забегает вперед или отстает, когда я даю команду, – он покойник. А покойники лишаются увольнения на все выходные. Понятно?

Он повернулся к капитану Гарридо, но тот, казалось, отвлекся: взгляд его блуждал по линии горизонта. Гамбоа поднес свисток к губам. Колонны снова дрогнули.

– Первая линия наступления – приготовиться. Командиры взводов вперед, сержанты – в тыл.

Лейтенант посмотрел на часы. Ровно девять. Дал долгий свисток. Пронзительный звук хлестнул слух капитана, удивленно восторженно удивившегося: он вдруг понял, что на несколько мгновений забыл о занятиях, и смутился. Быстро переместился к кустам, в хвост роты, чтобы наблюдать за наступлением.

Гамбоа еще не закончил свистеть, а первая линия – увидел капитан Гарридо – тремя группами бросилась вперед, словно разжалась пружина: кадеты исправно образовывали веер, стремительно продвигались вперед и в стороны, вместе напоминая величественно распускающийся павлиний хвост. Впереди неслись взводные; бежали, пригнувшись, сжимая в правой руке винтовку перпендикулярно земле, стволом к небу, прикладом вниз. Потом он услышал второй свисток – короче, но резче первого и дальше, потому что Гамбоа тоже бежал сбоку, следя за наступлением, – и первая линия, будто сраженная невидимой автоматной очередью, пропала в траве; капитану вспомнились жестяные солдатики в тире. Тут же утреннее небо, словно электрическим разрядом, прошило рыком Гамбоа: «Почему одна группа вылезла вперед? Роспильози, осла кусок, давно башку не сносили? Я вам пороняю винтовки!» – и снова свисток, и змеящаяся линия опять выросла над травой и понеслась, как молния, а чуть позже, волшебным действием очередного свистка, исчезла из виду, а голос Гамбоа все удалялся, терялся, до капитана долетали изошренные ругательства, незнакомые имена, он следил за головной группой, временами уходил в себя, а задние колонны начинали бурлить. Забыв о присутствии капитана, кадеты болтали во весь голос, потешались над теми, кто ушел вперед с Гамбоа: «Негр Вальяно валится, как мешок, у него, наверное, кости резиновые. А Раб, говнюк, боится, как бы личико не поцарапать».

Неожиданно Гамбоа снова вырос перед капитаном с криком: «Вторая линия наступления – приготовиться!» Командиры групп вскинули правую руку, тридцать шесть кадетов замерли в ожидании. Капитан взглянул на Гамбоа: лицо спокойное, кулаки сжаты, только взгляд необычайно юркий: скачет из стороны в сторону, вспыхивает надеждой, разочаровывается, лучится смехом. Вторая линия двинулась вперед. Силуэты кадетов вдали уменьшались, лейтенант со свистком в руке бежал стороной, лицом к наступавшим.

Обе линии, распределившись по всей ширине поля, то падали в траву, то вновь появлялись, оживляя пустынное пространство. Капитану было не рассмотреть, падают ли кадеты, как полагается по учебнику – на левую ногу, бок и руку, повернувшись так, чтобы винтовка, прежде чем коснуться земли, пришлась им на правый бок, – держат ли линии наступления условленную дистанцию, не рассеялись ли ударные группы, по-прежнему ли взводные остаются впереди, словно наконечники копий, и не теряют ли из виду лейтенанта. Фронт занимал метров сто в ширину и уходил все дальше. Снова появился невозмутимый, но лихорадочно сверкающий глазами Гамбоа, дал свисток, и последняя линия, которую замыкали сержанты, сорвалась с места. Теперь все три линии рвались вперед, удалялись, а он остался один у колючих кустов. Некоторое время стоял неподвижно и размышлял, какие все-таки кадеты медлительные и неуклюжие по сравнению с солдатами или курсантами академии.

Потом побрел следом за ротой, время от времени посматривая в бинокль. Издали наступление выглядело как одновременное движение вперед и назад: пока первая линия лежала, вторая неслась вперед, обегала ее и оказывалась в голове, а третья перемещалась на позиции, освобожденные второй. При следующем рывке линии возвращались в первоначальный порядок, а через мгновение рассыпались, ровнялись. Гамбоа размахивал руками, будто прицеливался из пальца и стрелял по отдельным кадетам, и капитан Гарридо, хоть и не слышал его, легко догадывался, какие команды он отдает, какие замечания делает.

Внезапно он услышал выстрелы. Взглянул на часы. Подумал: «Точно вовремя. Ровно девять тридцать». Поднес к глазам бинокль, проверил: головная группа добралась до намеченных позиций. Присмотрелся к мишеням, но попаданий не заметил. Подбежал метров на двадцать, разглядел дюжину отверстий в окружностях. «Солдаты лучше стреляют. А этих выпустят в звании офицеров запаса. Позор». Пошел вперед, почти не отнимая бинокля от глаз. Перебежки сократились – всякий раз линии продвигались на десять метров. Выстрелила вторая линия, и, как только утихло эхо, свисток дал знать, что передняя и задняя могут наступать. Кадеты казались вдали совсем крошечными, падали; казалось, будто они подсакивают на месте. Новый свисток: лежащая линия стреляет. После каждого залпа капитан осматривал мишени и подсчитывал попадания. По мере приближения к холму их становилось больше: круги выглядели изрешеченными. Он наблюдал за лицами стрелков – багровыми, детскими, безусыми, один глаз закрыт, другой уставлен в прицел. Приклады били отдачей в юные тела: плечо еще гудит, а надо вскочить, пригнуться, снова броситься на землю и снова стрелять, потому что ты в облаке насилия – потешного насилия. Капитан Гарридо знал, что на войне все совсем не так.

И тут он заметил зеленую фигуру, на которую еще секунда – и наступил бы, и винтовку, чудовищно вогнанную стволом в землю вопреки всем правилам бережного обращения с оружием. Сначала не мог взять в толк, что означают это распростертое тело, эта утопленная в земле винтовка. Наклонился. Лицо у парня скривилось от боли, рот и глаза были широко открыты. Пуля попала в голову: по шее стекала струйка крови.

Капитан уронил бинокль, подхватил кадета – одной рукой под ногами, другой под спиной – и в смятении бросился к холму, крича: «Лейтенант Гамбоа! Лейтенант Гамбоа!» Но его не сразу слышали. Первая рота – неразличимые между собой жучки, ползущие по склону к мишеням, – была слишком поглощена командами Гамбоа и тяжелым крутым подъемом, чтобы обернуться. Капитан силился поймать взглядом светлую форму лейтенанта или сержантов. Вдруг жучки остановились, обернулись, капитан почувствовал, что на него смотрят десятки глаз. «Гамбоа, сержанты! – прокричал он. – Сюда, быстро!» Кадеты посыпались вниз по склону, и он ощутил, как по-дурацки выглядит с этим парнем на руках. «Везет, как псу, – подумал он. – Полковник мне это в послужной список вlepит».

Первым подбежал Гамбоа. Он окинул кадета изумленным взглядом, пригнулся, чтобы осмотреть тщательнее, но капитан прервал его:

– В медпункт, быстро. На всех парах.

Сержанты Морте и Песоа взяли раненого на руки и рванули через поле, а за ними – капитан, лейтенант и кадеты, в ужасе смотревшие, как на бегу трясется бледное, изможденное, всем знакомое лицо.

– Скорее, – повторял капитан, – скорее.

Внезапно Гамбоа выхватил раненого у сержантов, взвалил на плечи и припустил вперед, покрывая несколько метров за секунду.

– Кадеты! – крикнул капитан. – Остановить первую попавшуюся машину!

Кадеты отделились от сержантов и перекрыли дорогу. Капитан, Морте и Песоа отстали.

– Он из первой роты? – спросил капитан.

– Да, господин капитан, – сказал Песоа, – из первого взвода.

– Как его зовут?

– Рикардо Арана, господин капитан, – он немного помедлил и добавил: – По прозвищу Раб.

Вторая часть

*Я никому не позволю утверждать,
будто это самый лучший возраст в жизни.*
Поль Низан¹¹

I

Жалко мне Недокормленную, всю ночь вчера скулила. Я ее заворачивал в одеяло, сверху еще подушку клал, но все равно было слышно, как она протяжно воет. А то и хрипела, будто задыхалась, как повешенная, звучало страшно. От воя вся казарма проснулась. В другой день им было бы плевать. Но сейчас все на нервах, давай материться, мол: «Убери ее, или огребешь», приходилось с койки огрызаться то на одного, то на другого, пока к полуночи она уже и меня не достала. Я спать хотел, а она громче и громче воет. Некоторые поднялись и подошли к моей койке с ботинками в руках. Не биться же со всем взводом, тем более когда мы как в воду опущенные. Я ее вывел во двор, оставил, но развернулся – чувствую, за мной идет, – и грубо так сказал: «А ну, сучка, стоять где стояла. Не хрен было выть», – а она не отстает, хромает за мной, скрюченной лапой земли не касается, разжалобила меня своими стараниями. Так что я взял ее на руки, унес на пустырь, уложил на травку, почесал холку, а потом ушел, и на этот раз она за мной не увязалась. Но спал плохо, точнее, вообще не спал. Только глаза заведу – они бац – и открываются, думал про Недокормленную, да еще расчихался, потому что во двор не обувался, пижама вся дырявая, а вроде ветрено было, может, и дождь шел. Бедная Недокормленная, зябнет там, а она ведь такая мерзлячка. Бывает, по ночам бесится, если я во сне двинусь и с нее одеяло скину. Вся от злости аж трясется, встает, тихонько подрыкивает и зубами обратно на себя одеяло тянет или поглубже на койку пролезает, чтобы от моих ног согреться. Собаки – они верные, не то что родственники, что уж тут поделаешь. Недокормленная – дворняга, помесь всех пород на свете, но душа у нее благородная. Не помню, когда ее занесло в училище. Ее точно никто не привел, сама бежала мимо и заскочила взглянуть – понравилось, осталась. Вроде, когда мы поступили, она уже была. А может, родилась здесь, коренная леонсиопрадовка. Она мелкая была, когда я ее заметил, все время во взводе ошивалась с тех самых пор, как нас крестили, чувствовала себя как дома, а если заходил кто из четвертых, кидалась на него, облаивала, норовила укусить. Не робкого десятка: ее пинают так, что она аж летает, а она опять в атаку, лает, скалится, а зубы у нее мелкие, видно, что молодая совсем. Теперь-то она выросла, больше трех лет ей, надо думать, уже старая для собаки, животные долго не живут, особенно помеси и кто плохо питается. Ни разу не видел, чтобы Недокормленная много ела. Иногда объедки ей отдаю – это у нее пир. Траву она только жует: высасывает сок и выплевывает. Наберет травы в пасть и часами жует, как индеец коку. Она вечно болталась во взводе, и некоторые говорили, мол, она блохастая, и вышвыривали ее, но она всегда возвращалась, тыщу раз ее выгоняли – и снова здорово, дверь скрипит, и из-за нее выглядывает собачья морда, нам смешно становилось от такого упорства, иногда мы ее впускали, играли с ней. Не знаю, кто ей дал кличку Недокормленная. Никогда не известно, откуда клички берутся. Когда меня прозвали Удавом, я сначала ржал, а потом чего-то злость взяла, у всех спрашивал, кто это придумал, и все на других валили, а теперь уже и не знаю, как избавиться, меня и на районе так называют. Скорее всего, это Вальяно. Он всегда несет такое: «Устрой показательное выступление, поссы поверх ремня», «Дай посмотреть, как у тебя до колена висит». Но точно не знаю.

¹¹ Поль Низан (1905–1940) – французский писатель и философ.

Альберто схватили за локоть. Обернулся: бесцветное лицо, он такого не помнит. Парень, однако, улыбался, будто они знакомы. За спиной у него стоял еще один кадет, поменьше ростом. Видел он их смутно: было всего шесть вечера, но туман уже напал. Они стояли во дворе пятого курса, недалеко от плаца. Туда-сюда бродили стайки кадетов.

– Обожди, Поэт, – сказал парень. – Вот ты все знаешь: яичник же – все равно как яйцо, только женское?

– Отвали, – сказал Альберто. – Я спешу.

– Да ладно тебе, мужик. Всего минутку. Мы поспорили.

– Про песню, – сказал низенький, подходя поближе, – боливийскую. Он наполовину боливиец и тамошние песни знает. Ох, и чудные у них песни. Спой ему.

– Отвали, сказал. Мне идти надо.

Но парень не отвалил, а сжал его локоть крепче и завел:

*У меня яичник ноет и болит,
то моя утроба младенчика родит.*

Низенький захихикал.

– Ты меня отпустишь или нет?

– Нет. Сначала скажи, что это одно и то же.

– Не считается, – сказал низенький, – ты его подзуживаешь.

– Да одно и то же это! – завопил Альберто, рывком высвободился и пошел. Спор относительно яичника продолжался у него за спиной. Он быстро добрался до офицерского корпуса и повернул: до медпункта всего метров десять, а стены еле видны – туман стер окна и двери. В коридоре никого не было, в маленьком медкабинете тоже. Он поднялся на второй этаж, перебежав через две ступеньки. У входа сидел человек в белом халате. В руках он держал газету, но не читал, а мрачно смотрел на стену. При виде Альберто он встрепенулся.

– Выйдите отсюда, кадет, – сказал он. – Здесь запрещено находиться.

– Я хочу видеть кадета Арану.

– Нет, – кисло сказал человек, – уходите. Никому нельзя видеть кадета Арану. Он изолирован.

– У меня срочное дело, – сказал Альберто. – Пожалуйста. Дайте мне поговорить с дежурным врачом.

– Я дежурный врач.

– Неправда. Вы фельдшер. Я хочу поговорить с врачом.

– Не нравится мне ваше поведение, – ответил человек. Газету он уронил на пол.

– Если не позовете врача, я сам за ним пойду. Хотите вы того или нет.

– Что с вами, кадет? Вы чокнутый?

– Позовите врача, мать вашу! – заорал Альберто. – Позовите мне долбаного врача!

– В этом училище все бешеные какие-то, – пробормотал человек, поднялся со стула и ушел по коридору. Выкрашенные – возможно, совсем недавно – в белое стены были покрыты серыми пятнами от сырости. Вскоре фельдшер вернулся в сопровождении высокого мужчины в очках.

– Что вам угодно, кадет?

– Я хотел бы видеть кадета Арану, доктор.

– Никак нельзя, – сказал врач и беспомощно развел руками. – Вам разве солдат не сказал, что сюда запрещено подниматься? Вас могут наказать, молодой человек.

– Я вчера три раза приходил, – сказал Альберто, – и солдат меня не пускал. Но сейчас его нет на посту. Пожалуйста, доктор, мне очень нужно его видеть, хотя бы минутку.

– Мне очень жаль. Это не от меня зависит. Сами знаете, устав. Кадет Арана изолирован. К нему никого не пускают. Вы его родственник?

– Нет. Но мне нужно с ним поговорить. Очень срочно.

Врач положил ему руку на плечо и сочувственно сказал:

– Кадет Арана не в состоянии ни с кем говорить. Он без сознания. Но скоро выздоровеет. А теперь идите. Не вынуждайте меня звать офицера.

– А если у меня будет разрешение от майора, меня пустят?

– Нет, – сказал врач, – только по распоряжению полковника.

Я ходил к ее школе два-три раза в неделю, но показывался ей не всегда. Мать привыкла обедать одна, уж не знаю – верила она, будто я к товарищу хожу на обед, или не верила. Так или иначе ей это было только на руку, меньше на еду тратиться. Иногда я приходил в полдень, а она раздраженно спрашивала: «Что, сегодня не идешь в Чукуито?» Моя бы воля, я бы каждый день Тересу встречал, но меня не всегда отпускали из школы. По понедельникам было легко, потому что последним уроком была физкультура, и на перемене я прятался за колоннами, пока физрук Сапата не уведет класс на улицу, а потом смылся через главный вход. Сапата когда-то был чемпионом по боксу, но к нам пришел уже совсем старым и работать не особенно стремился – перекличек никогда не устраивал. Он нас выводил и говорил: «Играйте в футбол – это ногам полезно. Только далеко не убегайте». Садился на траву и читал газету. Во вторник сбежать не получалось – математик знал весь класс по именам. А по средам получалось – учитель рисования и музыки, доктор Сигуэнья, был немного блаженный: после перемены в одиннадцать я уходил гаражами и садился на трамвай у самой школы.

Тоший Игерас по-прежнему давал мне деньги. Он всегда меня поджидал на площади Бельявиста, угощал выпивкой, сигареткой, толковал про моего брата, про женщин, много про что. «Ты уже мужчина, – говорил он, – самый настоящий». Иногда предлагал деньги, даже если я не просил. Много не давал – пятьдесят сентаво или соль зараз, но на проезд мне хватало. Я шел до площади Второго мая, потом по проспекту Альфонсо Угарте до ее школы и всегда становился у лавки на углу. Иногда подходил к ней, и она говорила: «Привет! И сегодня пораньше освободился?», – а потом мы начинали разговаривать про всякое. «Она очень умная, – думал я. – Меняет тему, чтобы мне не было неловко». Мы шли до дома ее дяди с тетей, кварталов десять, и я старался, чтобы продвигались мы медленно-премедленно – делал маленькие шажки или останавливался у витрин, – но все равно больше получаса дорога у нас никогда не занимала. Разговоры вели про одно и то же, она рассказывала, как у нее дела в школе, я – как у меня, обсуждали, что будем учить вечером, когда будут годовые экзамены и сдадим ли мы их. Я знал, как зовут всех ее одноклассниц, а она знала прозвища всех моих одноклассников из школы имени Саенса Пеньи¹², всех учителей и сплетни, ходившие по моей школе про самых примерных учеников. Однажды я придумал сказать ей вот что: «Мне приснилось, будто мы с тобой выросли и женимся». Я был уверен, что она тут же задаст мне кучу вопросов, и заготовил ответы на любой случай, чтобы не молчать. На следующий день, пока мы шли по проспекту Арика, я ни с того ни с сего ляпнул: «Знаешь, мне вчера приснилось...» – «Что тебе приснилось?» – спросила она. А я только и смог сказать: «Что мы оба отлично сдали экзамены». – «Хорошо бы сон оказался вещий!» – сказала она.

¹² В оригинале – «из школы имени Второго мая», хотя ранее повествователь называет себя учеником школы имени Саенса Пеньи. На это несоответствие указывает автор монографии «Город и псы»: биография романа» Карлос Агирре, отмечая, что впервые на него обратил внимание немецкий переводчик романа Вольфганг Лухтинг, а Марио Варгас Льюса в письме от 19 января 1965 года ответил ему, что в самом деле допустил путаницу и следует считать, что повествователь учится в школе имени Саенса Пеньи. Именно эта школа остается единственной упоминаемой в немецком, а также французском переводах романа. Тем не менее испаноязычные издания по сей день выходят с ошибкой.

По дороге нам всегда встречались мальчики из школы Ла Салье в форме цвета кофе с молоком, и про них мы тоже разговаривали. «Они неженки, – говорил я. – И в подметки не годятся нашим, из Саенса Пеньи. Эти бледнолицые – такие же, как из школы братьев-маристов в Кальяо, которые в футбол, как девчонки, играют: врежешь им ногой – сразу же мамочку зовут. Ты только посмотри на них». Она смеялась, а я продолжал в том же духе, но в конце концов тема выдыхалась, и я думал: «Почти пришли». Я немного беспокоился, что наскучу ей одними и теми же историями, но меня утешало, что она мне тоже по многу раз рассказывала одно и то же, а я никогда не уставал слушать. Иногда дважды или трижды пересказывала картину, которую видела с тетей в понедельник на женском сеансе. Мы как раз насчет кино толковали, когда я признался ей кое в чем. Она спросила, видел ли я какой-то там фильм, и я сказал, нет, не видел. «Ты что, никогда в кино не ходишь?» – спросила она. «Сейчас почти не хожу, – сказал я, – но в прошлом году ходил. Мы с двумя одноклассниками бесплатно попадали по средам на семичасовой в «Саенс Пенья». У одного двоюродный брат был в муниципальном патруле и, когда дежурил, проводил нас на галерку. Как только свет гасили, мы спускались в партер – там всего-то деревянная перегородка, легче легкого перепрыгнуть». «И вас ни разу не поймали?» – спросила она. «Неа. Кто бы нас поймал с таким братом?» Тогда она спросила: «А в этом году почему не ходите?» – «Они теперь ходят по четвергам, – сказал я, – Брат теперь по четвергам дежурит». – «А ты?» И я, не подумав, брякнул: «А мне больше нравится с тобой сидеть у тебя дома». Тут же спохватился и замолк. Но сделал хуже, потому что она так серьезно на меня посмотрела, – я подумал: «Точно рассердилась». И тогда я сказал: «Может, как-нибудь схожу с ними. Хотя я не слишком-то кино люблю». И завел речь про что-то другое, но все время думал, какое лицо она сделала, не такое, как обычно, как будто мои слова навели ее на мысль о чем-то, в чем она боялась мне признаться.

Однажды Тоший Игерас подарил мне полтора соля. «Курева купишь, – сказал он, – или напьешься, если в любви не повезет». На следующий день мы шли по проспекту Арика, по той стороне, где кинотеатр «Бренья», и случайно остановились у витрины одной булочной. Она увидела шоколадные пирожные и сказала: «Вкусные, наверное!» И тут я вспомнил про деньги у меня в кармане – редко когда я чувствовал себя таким счастливым. Я сказал: «Погоди, у меня есть соль, сейчас куплю», а она сказала: «Не надо, не траться, я пошутила», но я вошел и купил у булочника-китайца пирожное. Я так волновался, что забыл взять сдачу, но китаец, человек порядочный, догнал меня и сказал: «Я вам должен двадцать сентаво. Возьмите». Я отдал ей пирожное, а она сказала: «Я одна все не съем. Давай поделим». Я не хотел, отнекивался, но она все меня уговаривала и, наконец, предложила: «Ну хоть кусочек откуси». И ткнула мне пирожное прямо в рот. Я откусил, а она засмеялась: «Ты весь измазался. Это я, дурочка, виновата. Давай вытру». И она поднесла другую руку к моему лицу. Я застыл с улыбкой, когда почувствовал ее прикосновение; боялся дышать, пока она водила пальцем по моим губам, – иначе она догадалась бы, что я умираю как хочу поцеловать ей руку. «Вот теперь чисто», – сказала она, и мы молча побрели к школе Ла Салье. Я был сам не свой из-за того, что случилось, потому что точно знал: она могла бы и быстрее вытереть шоколад у меня с губ, но помедлила, задержала руку, и говорил себе: «Может, она это нарочно».

К тому же это не Недокормленная занесла нам блох, – я думаю, наоборот, она их в училище-то и нахваталась, от индейцев. А однажды Ягуар с Кучерявым, мерзавцы, подпустили ей в шерсть мандавошек. Уж не знаю, куда там Ягуар вляпался, надо думать, в какой-нибудь притон в первом квартале Уатики, и подцепил там огромных вшей. Он им устраивал гонки по уборной, так они больше муравьев с виду были, если на кафеле их наблюдать. Кучерявый сказал: «Давайте их кому-нибудь подпустим». А Недокормленная тут же терлась, на свою беду. Попалась под горячую руку. Кучерявый поднял ее за загривок, лапы в воздухе болтались, Ягуар обеими руками пересаживал вшей, а потом они оба вошли в раж, и Ягуар заорал: «У меня их

еще тыщи остались, кого крестить будем?», – а Кучерявый: «Раба!» Я с ними пошел. Тот спал. Помню, я его схватил за голову и зажал ему глаза, а Кучерявый держал ноги. Ягуар запускал ему вшей в волосы, а я кричал: «Осторожно, черти вы этикие, в рукав мне не насыпьте!» Если б я знал, что с парнем случится такое, вряд ли я бы тогда стал ему голову держать и вообще чмырить его. Но ему-то, думаю, ничего от этих вошек не было, а вот Недокормленную прямо попортили. Она почти целиком облезла, все время терлась о стенки, и вид у нее стал, как у шелудивой бездомной псины, сплошные стружья. Чесалось у нее, наверное, нестерпимо, без продыху терлась, особенно у стены в казарме, где зазубрины. Спина сделалась, как перуанский флаг: красное и белое, белое и красное, штукатурка и кровь. Ягуар сказал: «Если мы ее перцем обсыпем, по-человечьи заговорит, – и велел мне: – Удав, иди своруй перцу на кухне». Я пошел, и повар дал мне перцев рокото. Мы их на кафеле камнем смололи, а индеец Кава все бубнил: «Быстрее, быстрее». Потом Ягуар сказал: «Хватай ее и держи, пока я ее лечить буду». Она и вправду только что не заговорила. Прыгала выше шкафчиков, извивалась, как змея, а уж как выла, окаянная. На шум прибежал сержант Морте, посмотрел, как Недокормленная скачет, и чуть не помер со смеху, все говорил: «Вот шельмы, вот ведь шельмы». Но самое странное – и впрямь вылечилась собака. Шерсть стала отрастать, а сама она вроде потолстела. Она, видать, и вправду решила, что я ей перцу сыпанул, чтобы подлечить. Животные – они ведь неразумные, кто ее знает, что там ей втемяшилось. Только после того дня стала везде за мной ходить. На построении вилась у меня в ногах, маршировать мешала, в столовке сидела под моим стулом, виляла хвостом – вдруг я ей чего подкину, – поджидала с уроков, начинала этак ушами и мордой радостно вертеть, когда я на перемену выходил, а ночью залезала мне в койку и все лицо мне норовила вылизать. И бей не бей ее – не отставала. Отбегала, потом возвращалась, меряла меня глазами, ну-ка, ну-ка, мол, интересно, будешь бить или нет, чуточку подойду, отойду, теперь пнуть не достанешь, умная, зараза. И все начали меня стебать: «Трахаеться ее небось, кобелюга», но это вранье, мне такое и в голову не приходило – собаку натянуть. Поначалу я бесился, очень уж она приставучая, но иногда почесывал ее за ушком, стало даже нравиться. Ночью она по мне скакала, вертелась, спать не давала, пока за ушком не почешу. Тогда успокаивалась. Но доставали меня будь здоров. Как услышат, что она ворочается, – давай меня чмырить: «Эй, Удав, оставь животное в покое, удушишь ведь», ах ты, бандитка, нравится тебе, да? Поди сюда, подставляй холку, да и пузичко. И она тут же замирала, но я чувствую, под рукой дрожит от удовольствия, а если перестаю чесать, вскакивает, и в темноте видно – пасть раскрыла, зубы белые показывает. Не знаю, почему у всех собак такие белые зубы – никогда не видал темных и не слыхал, чтобы у них зубы выпадали или им больной зуб вырывали. Странно. А еще они не спят. Я думал, только Недокормленная не спит, но потом мне рассказали, мол, все собаки такие, бессонные. Я сначала беспокоился, даже пугался отчасти. Откроешь глаза – а она сидит, на тебя пялится, иногда даже спать не мог при мысли, что она всю ночь меня караулит, не смыкая глаз, от такого любой занервничает – когда за тобой следят, даже пусть псина, которая ничего не понимает, хотя временами кажется – все она понимает.

Альберто развернулся и пошел вниз по лестнице. На нижних ступеньках он разминутся с мужчиной, довольно пожилым с виду. Лицо у мужчины было изнуренное, глаза – тревожные.

– Сеньор, – сказал Альберто.

Тот уже довольно высоко поднялся, но стал и глянул вниз.

– Простите, – сказал Альберто, – Вы кем-то приходитеесь кадету Рикардо Аране?

Мужчина пристально посмотрел на него, словно силясь узнать.

– Я его отец, – сказал он, – а что?

Альберто поднялся к нему, их глаза оказались на одном уровне. Отец Араны так и сверлил его глазами. Веки налились синими пятнами, во взгляде сквозило беспокойство. Заметно было, что он давно не спал.

– Вы не могли бы сказать мне, как он себя чувствует? – попросил Альберто.

– Его изолировали, – хрипло сказал мужчина. – К нему не пускают. Даже нас. Вы его друг?

– Мы из одного взвода, – сказал Альберто. – Меня тоже не пустили.

Мужчина кивнул. Казалось, он немного не в себе. На щеках и подбородке росла редкая щетина, воротничок рубашки был мятый, грязный; галстук лежал криво, завязанный на до нелепости маленький узел.

– Я всего секунду его видел, – сказал мужчина, – с порога палаты. Лучше бы вовсе не пускали.

– Как он? Что сказал врач?

Мужчина поднес руки ко лбу, вытер рот костяшками пальцев.

– Не знаю. Ему сделали две операции. Его мать с ума сходит. Я не понимаю, как такое могло случиться. Да еще в самом конце учебного года. Ну да лучше и не думать, глупости все это. Надо только молиться. Господь выведет его целым и невредимым из этого испытания. Его мать сейчас в часовне. Доктор сказал, может, вечером нас к нему пустят.

– Он выкарабкается, – сказал Альберто. – Здесь, в училище, самые лучшие врачи, сеньор.

– Да, да. Капитан нас обнадежил. Очень милый человек. Капитан Гарридо, если не ошибаюсь. Передал нам привет от самого полковника, представляете?

Он снова провел рукой по лицу. Пошарил в кармане, достал пачку сигарет. Предложил Альберто, тот не стал брать. Снова запустил руку в карман в тщетных поисках спичек.

– Подождите секундочку, – сказал Альберто, – я сбегаю за спичками.

– Я с вами, – сказал мужчина. – Чего мне сидеть в коридоре одному? Я тут уже два дня. Все нервы к чертям испортил. Боже упаси, как бы не случилось непоправимого.

Они вышли из медпункта. В кабинетике на входе обнаружился дежурный солдат. Он удивленно взглянул на Альберто, вытянул шею, но промолчал. Стемнело. Альберто пошел через пустырь к «Перлите». Вдалеке светились окна казарм. В учебном корпусе было темно. Стояла полная тишина.

– Вы были с ним, когда это случилось? – спросил мужчина.

– Да. Но не очень близко. Я шел с другого края. Капитан его увидел, когда мы уже начали подниматься на холм.

– Это несправедливо. Несправедливое наказание. Мы люди порядочные. Каждое воскресенье ходим в церковь, зла никому не делаем. Его мать занимается благотворительностью. За что Бог послал нам такое несчастье?

– Мы очень переживаем, весь взвод, – сказал Альберто. Он помолчал и добавил: – С большой теплотой к нему относимся. Он хороший товарищ.

– Да, – согласился мужчина, – Он неплохой парень. Это моя заслуга, знаете ли. Иногда приходилось с ним построжее. Но это ради его же блага. Нелегко было сделать из него мужчину. Он мой единственный сын, я на все ради него готов. Ради его будущего. Расскажите мне про него, пожалуйста. Про то, как ему жилось в училище. Рикардо очень немногословный. Ничего нам не рассказывал. Но иногда будто бы бывал недоволен.

– В армии жизнь трудная, – сказал Альберто, – нелегко привыкнуть. Поначалу все недовольны.

– Но ему эта жизнь пошла на пользу, – взволнованно сказал мужчина, – Сделала из него совсем другого человека. Этого никак нельзя отрицать. Вы не знаете, каким он был в детстве. Здесь его закалили, научили ответственности. Я этого как раз и добивался – чтобы он был мужественнее, развивался как личность. К тому же, если он хотел уйти, мог бы мне сказать. Я велел ему поступить, он согласился. Я не виноват. Я заботился только о его будущем.

– Вы не волнуйтесь, сеньор, – сказал Альберто, – успокойтесь. Я уверен, худшее осталось позади.

– Его мать винит меня, – сказал мужчина, словно не слышал Альберто. – Женщины ничего не понимают, а потом несправедливо валят на тебя. Но у меня совесть чиста. Я отправил его сюда, чтобы он стал сильным, чтобы от него польза была. Я же не провидец. Вы считаете, можно меня вот так винить, а?

– Не знаю, – смущенно сказал Альберто, – то есть, я имею в виду, конечно нельзя. Главное – чтобы Арана поправился.

– Я очень переживаю, – сказал мужчина. – Не обращайтесь на меня внимания. Иногда не владею собой.

Дошли до «Перлиты». Паулино, подперев щеку рукой, стоял за стойкой. На Альберто он посмотрел, будто видел его впервые.

– Коробок спичек, – сказал Альберто.

Паулино недоверчиво оглядел отца Араны.

– Спичек нету, – сказал он.

– Это не мне, это сеньору.

Паулино молча выудил из-под стойки коробок. Мужчина сжег три спички, пытаясь прикурить. В мимолетном свете Альберто заметил, что руки у него дрожат.

– Дайте кофе, – сказал отец Араны. – Вы что-нибудь будете?

– Кофе нету, – скучающим голосом проговорил Паулино. – Кола, если желаете.

– Ладно, – сказал мужчина, – колу, что угодно.

Он позабыл и тот светлый день, не дождливый и не солнечный. Он сошел с трамвая линии Лима – Сан-Мигель у кинотеатра «Бразилия», за остановку до своего дома – как обычно: предпочитал пройти пешком десяток скучных кварталов, даже в дождь, чтобы хоть ненадолго оттянуть неизбежную встречу. Сегодня ритуал совершался в последний раз: на прошлой неделе экзамены закончились, им раздали табели, школа умерла, чтобы воскреснуть по прошествии трех месяцев. Одноклассники радовались предстоящим каникулам, а он боялся. Школа была его единственным убежищем. Летом он попадет в полную и опасную зависимость, останется на их милость.

Не свернув на Салаверри, он прошел по проспекту Бразилии до парка. Сел на скамейку, засунул руки в карманы, сгорбился и застыл. Он чувствовал себя стариком: жизнь текла нудно, не готовила ему никаких приятных событий, наваливалась тяжелым грузом. Одноклассники на уроках начинали озорничать, как только учитель отворачивался к доске: строили друг другу рожи, бросались бумажными шариками, пересмеивались. Он смотрел и недоумевал: почему он не может быть как они, жить без забот, иметь друзей и ласковых близких? Он закрыл глаза и долго сидел, думая про Чиклайо, про тетю Аделину, про счастливое нетерпение, с которым в детстве ждал лета. Потом встал и медленно направился домой.

За квартал до дома сердце у него упало: синий автомобиль стоял у входа. Неужели он потерял счет времени? Спросил у прохожего который час. Одиннадцать. Отец никогда не возвращался раньше часа. Он ускорил шаг. На пороге услышал голоса родителей – они спорили. «Скажу, трамвай сошел с рельсов и пришлось идти пешком от самой Старой Магдалены», – решил он, нажимая кнопку звонка.

Открыл отец. Он улыбался, глаза глядели вовсе не злобно. Он неожиданно сердечно похлопал сына по плечу и сказал почти что весело:

– А, вот и ты. Мы как раз с матерью про тебя говорили. Заходи, заходи.

Ему стало спокойнее; он расплылся в глупой, заискивающей, безликой улыбке, которая служила ему лучшим щитом. Мама сидела в гостиной. Она нежно обняла его, и он снова расстроился: проявления чувств могли пошатнуть отцовское благодушие. В последние месяцы отец привлекал его в качестве судьи или свидетеля в семейных спорах. Это было тяжело и унижительно: ему полагалось отвечать «да, да» на все вопросы-утверждения отца, призванные

обвинить маму в расточительстве, неряшливости, неумелости, распутстве. Насчет чего ему придется свидетельствовать на сей раз?

– Посмотри, – любезно сказал отец, – там на столе кое-что для тебя лежит.

Он искоса глянул: на обложке схематично изображен фасад большого здания, под ним крупными буквами написано: «Училище имени Леонсио Прадо – лучшее начало военной карьеры». Он протянул руку, взял брошюру, поднес к лицу и начал потрясенно листать: футбольные поля, прохладный бассейн, пустые, чистые, убранные столовые и дортуары. Весь центральный разворот занимала яркая фотография, идеальный строй кадетов при винтовках и штыках маршировал перед трибуной. Белые фуражки, золотые погоны. На вершине флаштока развевалось знамя.

– Разве не превосходно? – спросил отец. Голос звучал по-прежнему дружелюбно, но он слишком хорошо его знал, чтобы не заметить легчайшее изменение в интонации, затаенное предупреждение.

– Да, – быстро сказал он, – по-моему, превосходно.

– Конечно! – сказал отец, немного помолчал и обернулся к маме. – Вот видишь! Я же говорил, ему первому понравится.

– Я этого не одобряю, – слабо проговорила мама, не глядя на него. – Хочешь его туда отправить – дело твое. Но моего мнения не спрашивай. Я против того, чтобы он поступал в военный интернат.

Он вскинулся.

– Военный интернат? – глаза его горели. – Было бы превосходно, мама, я бы очень хотел.

– Ох уж эти женщины, – сочувственно сказал отец, – все они одинаковые. Сентиментальные дурочки. Ничего не понимают. Давай-ка, сынок, объясни ей, что военное училище – для тебя в самый раз.

– Он даже не знает, что это такое, – пробормотала мама.

– Нет, знаю! – с жаром возразил он. – Мне это в самый раз. Я всегда говорил, что хочу в интернат. Папа прав.

– Парень, – сказал отец, – мать считает, что ты дурак и сам решать не способен. Понимаешь теперь, как она тебе навредила?

– Там, наверное, здорово, – сказал он, – здорово.

– Ладно, – сказала мама, – раз обсуждать нечего, я умолкаю. Но чтоб вы знали: я этого не одобряю.

– А я твоего мнения не спрашивал, – сказал отец. – Такие вещи решаю я. Просто поставил тебя в известность.

Мама встала и вышла из гостиной. Отец тут же успокоился.

– У тебя два месяца на подготовку, – сказал он. – Экзамены серьезные, но ты ведь не тупой, легко сдашь. Правда?

– Я буду много заниматься, – пообещал он, – все сделаю, чтобы сдать.

– Вот и отлично. Запишу тебя на курсы, учебников хороших подкуплю. Недешево оно, конечно, но того стоит. Это ради твоего блага. Там из тебя мужика сделают. Тебя еще не поздно исправить.

– Я уверен, что сдам, – сказал он, – уверен.

– Прекрасно! Ни слова больше. Три года армейской жизни пойдут тебе на пользу. Военные свое дело туго знают. Закалят тебе тело и дух. Жаль, у меня никого не было, кто бы позаботился о моем будущем, как я о твоём!

– Да. Спасибо, большое спасибо! – сказал он. И через мгновение впервые добавил: – Папа.

– Сегодня после обеда можешь сходить в кино, – сказал отец. – Дам тебе десять солей на карманные расходы.

По субботам Недокормленная грустит. Раньше по-другому было. Она бегала с нами на полевые, шныряла там, подскакивала, когда стреляли, – ей, видно, по ушам давало, – куда ни глянь, везде она, волновалась сильнее, чем в другие дни. Но потом она ко мне прикипела и стала себя по-новому вести. По субботам становилась какая-то странная, таскалась за мной хвостом, в ногах вилась, лизалась, в глаза заглядывала. Я уже давно заметил: как вернемся с полевых и в душевые пойдем – или позже, в казарме, когда выходную форму надеваю, она заползает мне под койку или в шкафчик ныряет и начинает тихонько скулить – горюет, что я уйду. Пока строимся, все скулит, и трусит за мной, понурая, как неупокоенная душа. Встает у ворот, морду подымает и на меня глядит, а я даже издалека ее чувствую, от самого Пальмового проспекта чувствую, что Недокормленная стоит в воротах училища, у гауптвахты, смотрит на улицу, которой я ушел, и ждет. Но за ворота никогда за мной не идет, хотя никто ей не запрещает, это уж какие-то там ее собственные заскоки, вроде епитимьи, тоже, конечно, странно. Но когда в воскресенье вечером возвращаюсь, вертится, собака, в воротах, под ногами у прочих кадетов, носом крутит, мельтешит, принюхивается, и я знаю, она заранее меня чувствует, еще на подходе слышу – лает, а как увидит – прыгает, хвост пистолетом, и вся аж в узел сворачивается от радости. Верная животинка, я жалею, что ее мордовал. Я ведь не всегда с ней по-хорошему – бывало, наподдам, просто потому что на душе муторно или так, в шутку. А она вроде и не сердилась, скорее радовалась – наверняка думала, что это я люблю. «Прыгай, Недокормленная, не бойсь!» А она на шкафчике хрипит, лает, смотрит боязливо, как тот пес наверху лестницы. «Прыгай, прыгай, Недокормленная!» Но нипочем не идет, пока я сзади не подберусь и не подтолкну легонько – полетела, шерсть дыбом, от пола отскочила. Но это все в шутку. Я ее не жалел, а Недокормленная не обижалась, даже если больно приходилось. Но сегодня все получилось по-другому, я ей серьезно всыпал, нарочно. Нельзя сказать, что это целиком моя вина. Нужно учитывать, какая у нас обстановка. Индеец Кава, горемыка – уже от него одного нервы у всех натянуты, – а у Раба вообще кусок свинца в башке, само собой, мы как бешеные. Не знаю вообще, зачем нас заставили синюю форму надевать, солнце по-летнему светило, а мы потели, как кони, и животы подводило от волнения. Во сколько его выведут, интересно, какой он, изменился ли за время отсидки, исхудал, наверное, на хлебе и воде поди держали и весь день в камере, стращали Советом офицеров, только и выпускали, что на допрос к полковнику и капитанам, воображаю, что они там спрашивали и как орали, уж точно все про все выводили. Но индеец молодчина, мужик, ни слова не стукнул, все один вытерпел, это я, я спер вопросы по химии, я сам, никто не знал, сам стекло разбил, поцарапался даже, вот на руке, полюбуйтесь. А потом опять на губу, и сиди жди, пока тебе миску в окошко не просунут, – понятно, что там за еда – солдатская баланда, – и думай, что тебе батя сделает, когда вернешься в горы и скажешь: «Меня отчислили». Батя у него, наверное, тот еще мордovorot, индейцы, они такие, у меня в школе был друган из Пуно, так, бывало, весь в шрамах приходил, его отец ремнем лупцевал. Черные деньки у индейца Кавы, жалко мне его. Наверняка мы с ним больше не увидимся. Такова жизнь – три года вместе отмотали, а теперь он уедет обратно в горы и учиться больше не будет, останется там с индейцами и ламами, станет крестьянином малограмотным. Вот что хуже всего в этом училище: если тебя отчисляют, твои экзамены за предыдущие курсы не считаются, всё продумали, скоты, лишь бы людям жизнь испортить. Намучился, надо думать, индеец за эти дни, и весь взвод про него думал, как и я, пока мы стояли и парились в синей форме, во дворе, под солнцем, и ждали, пока его выведут. Голову поднять невозможно – глаза начинают слезиться. Сигналили нас и оставили стоять, долго стояли. Потом лейтенанты припылили в парадной форме, майор, а там и полковник, и тут уж мы по стойке смирно. Лейтенанты к полковнику с донесениями, а мы похолодели. Пока полковник толкал речь, стояла мертвая тишина, закашляться боязно. Но это не только от страха – нам еще и горько было, особенно первому взводу, а как же иначе: скоро перед нами поставят кого-

то, с кем мы вместе так долго жили, столько раз его голым видели, столько всего устраивали, тут разве что каменная душа не дрогнет. Вот и завел полковник своим пидорским голоском. Он был весь белый от злости и нес всякие гадости про индейца, про взвод, про курс, про всё на свете, и тут я замечаю, что Недокормленная жуёт мои шнурки. Пшла, Недокормленная, катись отсюда, сучка шелудивая, вон полковнику иди жри шнурки, тихо ты, нашла время, чтобы мое терпение испытывать. И ведь даже легонько не пнешь, чтобы отвяла. Лейтенант Уарина и сержант Морте в метре стоят, вздохни я – тут же услышат, имей совесть, сучка, не злоупотребляй обстоятельствами. Изыди, рыкающая тварь, одолеет тебя Христос-царь. Ни фига, как нарочно, падла, тянет и тянет за шнурок, пока не порвала – я почувствовал, ноге свободнее в ботинке стало. Ну, думаю, наигралась, сейчас уберется, зачем ты не убралась, Недокормленная, сама во всем виновата. За другой шнурок принялась, как будто сообразила, что я и на миллиметр не могу с места сдвинуться, тем более посмотреть на нее, тем более шикнуть. И тут вывели индейца Каву. Под конвоем, как будто на расстрел, совсем бледного. У меня в животе заекало, по горлу вверх что-то побежало, свело до боли. Индеец, весь желтый, маршировал между двумя солдатами, тоже индейцами, все трое – на одно лицо, прямо тройняшки, только Кава весь желтый. Они шли к нам по плацу, а мы на них смотрели. Повернули и стали маршировать на месте перед батальоном, рядом с полковником и лейтенантами. Я думал: «Чего они маршируют-то?» – а потом понял, что ни конвой, ни Кава знать не знают, что им дальше делать, а скомандовать «смирно» никому в голову не приходит. Потом Гамбоа шагнул вперед, сделал знак, и они остановились. Солдаты отошли назад, оставили его одного на плахе, а он ни на кого не решался взглянуть, держись, братушка, Круг с тобой, однажды мы отомстим. Я подумал: «Сейчас заплачет», не реви, индеец, не доставляй такого удовольствия этим говнюкам, стой прямо, держи спину, не дрожи, пусть видят, сволочи. Спокойно, спокойно, все скоро закончится, постарайся улыбнуться, вот увидишь, как им поперек горла станет. Я чувствовал: весь взвод пышет, как вулкан, вот-вот рванет. Полковник опять начал трепаться, всяко поносить индейца, извращенец, блин, – издеваться над бедолагой, которому и так уже жизнь загубили. Советы давал, велел усвоить урок, рассказывал про Леонсио Прадо, как он чилийцам, которые его расстреливали, сказал: «Я сам хочу дать команду: «Пли!» Говорю же – мудак. Потом протрубили в горн, и Пиранья, двигая челюстями, пошел к индейцу Каве, а я думал: «Сейчас зареву со злости», а треклятая Недокормленная все жуёт шнурок, уже и на штанину перешла, ответишь, неблагодарная, расквасишься. Держись, индеец, сейчас самое страшное, а потом уйдешь себе в город, и никаких тебе больше военных, никакой губы, никаких дежурств. Индеец стоял неподвижно, но все бледнел и бледнел, темное лицо побелело, и издалека было видно, что подбородок дрожит. Но он выдержал. Не отступил и не заплакал, когда Пиранья сорвал ему погоны, значок с пилотки, нашивку с нагрудного кармана, всю форму, считай, разодрал, снова протрубили, солдаты стали от него по бокам и шагом марш. Индеец едва ноги подымал. Ушли к плацу. Пришлось скосить глаза, чтобы смотреть, как они удаляются. Бедный Кава не держал шаг, спотыкался и временами опускал голову – видно, хотел посмотреть, как ему форму испоганили. Солдаты, наоборот, старались, ноги задирали, чтоб полковник видел. Потом они скрылись за стеной, а я думал, ну, подожди, Недокормленная, жри, жри штанину, придет твой черед, заплатишь, а нас все не распускали, потому что полковник опять завел про героев родины. Ты, наверное, уже на улице, индеец, ждешь автобуса, в последний раз глядишь на губу, не забывай нас, а и забудешь – твои друзья из Круга все равно за тебя отомстят. Ты теперь не кадет, а простой штатский, можешь подходить к любому лейтенанту или капитану и не отдавать им никакую честь, и дорогу им не уступать на тротуаре. Что ж ты, Недокормленная, не запрыгнешь на меня и не откусишь мне галстук или нос, не стесняйся, делай что хочешь. Жара стояла страшная, а полковник знай себе болтал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.